

# ЕВРОПА ПЕРЕД КАТАСТРОФОЙ

Барбара ТАКМАН



Последние десятилетия перед Великой войной...



Страницы истории (АСТ)

Барбара Такман

**Европа перед  
катастрофой. 1890-1914**

«АСТ»

1962, 1963, 1965

УДК 94(4)"1890/14"  
ББК 63.3(4)53

**Такман Б.**

Европа перед катастрофой. 1890-1914 / Б. Такман — «АСТ»,  
1962, 1963, 1965 — (Страницы истории (АСТ))

ISBN 978-5-17-083918-6

Последние десятилетия перед Великой войной, которая станет Первой мировой... Европа на пороге одной из глобальных катастроф XX века, повлекшей страшные жертвы, в очередной раз перекроившей границы государств и судьбы целых народов. Медленный упадок Великобритании, пытающейся удержать остатки недавнего викторианского величия, — и борьба Германской империи за место под солнцем. Позорное «дело Дрейфуса», всколыхнувшее все цивилизованные страны, — и небывалый подъем международного анархистского движения. Аристократия еще сильна и могущественна, народ все еще беден и обездолен, но уже раздаются первые подземные толчки — предвестники чудовищного землетрясения, которое погубит вековые империи и навсегда изменит сам ход мировой истории. Таков мир, который открывает читателю знаменитая писательница Барбара Такман, дважды лауреат Пулитцеровской премии и автор «Августовских пушек»!

УДК 94(4)"1890/14"

ББК 63.3(4)53

ISBN 978-5-17-083918-6

© Такман Б., 1962, 1963, 1965

© АСТ, 1962, 1963, 1965

## Содержание

От автора	6
Предисловие	7
1. Патриции. Англия: 1895—1902	9
2. Идеи и деяния. Анархисты: 1890—1914	50
3. Конец мечте. Соединенные Штаты: 1890—1902	85
Конец ознакомительного фрагмента.	91

# Барбара Такман

## Европа перед катастрофой. 1890—1914

*А с башни гордыни города Гигантская смотрит смерть.  
Из поэмы «Город в море» Эдгара Аллана По*

Barbara W. Tuchman

THE PROUD TOWER A PORTRAIT OF THE WORLD BEFORE THE WAR 1890–1914

Перевод с английского *И. В. Лобанова*

Компьютерный дизайн *В. А. Воронина*

Печатается с разрешения автора, Russell & Volkening, c/o Lippincott Massie McQuilkin и литературного агентства Synopsis.

## От автора

Глубочайшую авторскую признательность я выражаю прежде всего господину Сесилу Скотту из компании «Макмиллан», принимавшему участие в создании книги с самого начала и до конца, за постоянное и чуткое содействие, конструктивную критику и моральную поддержку.

За советы, предложения и готовность отвечать на мои вопросы я благодарна очень многим людям, в частности:

Роджеру Баттерфилду, автору исследования «Американское прошлое» (The American Past); профессору Фрицу Эпштейну Университета Индианы; Луису Фишеру, автору биографии «Жизнь Ленина»; профессору Эдварду Фоксу из Корнелльского университета, К. А. Голдингу из Международной федерации транспортных рабочих в Лондоне; Джею Гаррисону из компании «Коламбия рекордс»; Джону Гатману из театра «Метрополитен-опера»; Джорджу Лихтгейму, Институт коммунистических исследований Колумбийского университета; Уильяму Манчестеру, автору исследования «Дом Круппа» (The House of Krupp); профессору Артуру Мардеру, редактору писем сэра Джона Фишера; Джону Пейнтеру, биографу Пруста; А. Л. Раусу, автору предисловия к труду Грэхема Уоллеса; мисс Хелен Раскелл и всем сотрудникам Нью-Йоркской общественной библиотеки; Томасу К. Шерману, директору «Литтл оркестра сосайети»; госпоже Джейнис Шей за информацию о цирке в Германии; профессору Ребе Софферу из колледжа Сан-Фернандо Вали – за информацию об Уилфреде Троттере; Джозефу Суидлеру, президенту Федеральной энергетической комиссии; Луису Антермейеру, редактору сборника «Современной британской поэзии» (Modern British Poetry).

За помощь в подборе иллюстраций я особенно благодарна А. Дж. Юбелсу из Королевских архивов Гааги, сотрудникам залов искусства и печати Нью-Йоркской публичной библиотеки, а также господину и госпоже Гарри Коллинз из компании «Браун бразерс».

Отдельную благодарность я хотела бы выразить двум неустанным читчикам текста госпоже Джессике Такман и господину Тимоти Дикинсону, а также госпоже Эстер Букман – за безукоризненную перепечатку рукописей и этой книги, и предыдущего сочинения «Августовские пушки».

## Предисловие

Эпоха, заключительные годы которой описаны в этой книге, погибла не вследствие одряхления или несчастного стечения обстоятельств, а в результате взрывоподобного фатального кризиса, ставшего теперь одним из кардинальных факторов истории. Этот кризис не упоминается автором в дальнейшем по той простой причине, что он еще не произошел и не затронул жизнь людей, о которых рассказывается в книге. Я старалась не выходить за рамки того, что было известно к тому времени.

Великая война 1914–1918 годов словно необъятная полоса выжженной земли отделяет наше время от той эпохи. Уничтожив столь много людей, которые могли еще творить и созидать, разрушив верования, поломав убеждения, оставив незаживающие раны, нанесенные иллюзиям и надеждам, она создала материально и психологически осязаемую пропасть между двумя эпохами. В этой книге предпринята попытка понять особенности образа жизни перед Первой мировой войной.

Эта книга совсем не та, которую я намеревалась написать вначале. В процессе исследования предвзвешенные рассуждения рассыпались один за другим. Тот период нельзя назвать ни Золотым веком, ни *Belle Époque*, если не принимать во внимание одну общую черту – наличие узкой прослойки привилегированного класса. Его нельзя назвать и временем людей, исключительно уверенных в своих силах, чистосердечных, привыкших жить в условиях комфорта, стабильности и безопасности. Безусловно, все эти качества жизни присутствовали. Люди больше верили в ценности и стандарты, чем сейчас, отличались большей наивностью в надеждах на лучшее будущее, хотя их жизнь, исключая верхушку общества, не была слишком умиротворенной и комфортной. Но мы заблуждаемся, полагая, что той жизни не были присущи сомнения, страхи, озлобленность, недовольство, насилие и ненависть. Нас ввели в заблуждение люди того времени, оглядывавшиеся назад через пропасть войны и вспоминавшие первую половину своей жизни как озаренную светлыми лучами покоя и обеспеченности. Конечно, до войны она не казалась им столь лучезарной, какой представляется нам. Романтические воспоминания и ностальгические чувства людей из прошлого повлияли на формирование наших представлений о довоенной эпохе. На основе исследований я вывела правило: все утверждения современников о том, как прекрасно жилось в ту пору, сделаны после 1914 года.

Такие страшные явления, как Великая война, не могут проистекать из Золотого века. Возможно, мне следовало это уяснить с самого начала. Тем не менее я хорошо сознавала, что причины войны заключались не в *Grosse Politik*, хотя именно о ней говорил Извольский Эрен-талю и сэр Эдуард Грей – Пуанкаре, не в перестраховочных, двухсторонних и трехсторонних альянсах, марокканских кризисах и балканских запутанных проблемах, досконально изученных историками в поисках истоков мирового пожара. Исследовать эти события и обстоятельства было необходимо, и мы, появившиеся позднее, признательны нашим предшественникам за проделанную работу. Но они свое дело сделали. Я согласна с Сергеем Сазоновым, тогда министром иностранных дел России, сказавшим после изучения цепочки факторов: «Хватит хронологии!» Тема *Grosse Politik* исчерпана. Кроме того, она обманчива, создавая иллюзию, будто ответственны «они, высокомерные государственные деятели, всегда причастные к войнам», тогда как «мы», наивные и простодушные, поддаемся на их уловки. Это впечатление в корне неверное.

Дипломатические объяснения войны можно сравнить с показаниями температуры пациента: они ровным счетом ничего не говорят о действительных причинах заболевания. Чтобы найти истинные истоки и глубинные силы, надо вести исследование в рамках всего общества и выяснять, что именно побудило людей к войне. Я постаралась сосредоточиться на «обществе»,

а не на государстве. Политика с позиции силы, экономическое соперничество, какими бы важнейшими они ни были, – не мой предмет.

Эта книга охватывает кульминацию столетия, период самых ускоренных темпов развития человечества. Со времени последнего взрыва воинственности в наполеоновских баталиях промышленная и научно-техническая революция преобразовала мир. Человек вступал в XIX век, опираясь лишь на собственную силу и силы животных, энергию ветра и воды, как это происходило в начале XIII и даже I столетия. В XX век он вступил, имея в своем распоряжении средства производства, транспорта, коммуникаций, а также вооружения, мощность которых увеличилась в тысячи раз благодаря энергии машин. Индустриальное общество наделило человека новыми силами и новыми возможностями, но и создало для него новые проблемы, связанные с бедностью и богатством, ростом населения и перенаселенности городов, обострением антагонизма между классами и социальными группами, отчуждением от природы и неудовлетворенностью своей работой. Наука повысила благосостояние человека, открыла перед ним новые горизонты познания, но отняла у него веру в Бога и незыблемость окружающего мира. К тому времени, когда он распрощался с XIX веком, перед ним возникли новые вызовы и трудности. Хотя *fin de siècle* обычно связывают с декадентством, в действительности общество в начале нового века не загнивало, а, напротив, бурлило и разрывалось от накопленных новых сил и энергий. Стефан Цвейг, которому в 1914 году было тридцать три года, считал, что война началась «не из-за идей и даже не из-за границ»: «У меня нет другого объяснения, кроме этого переизбытка сил, трагического следствия внутреннего динамизма, накопившегося за сорок лет мирной жизни и теперь бешено рвущегося наружу».

Понятно, что мои попытки изобразить то, каким мир мог быть перед войной, субъективны и избирательны. Я осознавала, заканчивая книгу, что она могла быть повторно написана под тем же заглавием, но с иным содержанием, что можно написать и третий вариант книги без каких-либо повторов. Можно было бы написать главу о литературе того периода, о войнах – Японо-Китайской, Испано-Американской, Англо-бурской, Русско-Японской, Балканской, об империализме, о науке и технике, о бизнесе и торговле, о женщинах, монархиях и медицине, о живописи, по множеству других тем, представляющих интерес для индивидуального историка. Можно было бы написать отдельные главы о короле Бельгии Леопольде II, о Чехове, о Сардженте, о коннице или компании «Юнайтед стейтс стил» – все они фигурировали в моих первоначальных планах. Можно было бы написать главу о простых лавочниках или чиновниках, представлявших несчастный средний класс, но мне не удалось найти их.

Думаю, что мне следует рассказать о моем методе отбора. Я ограничила себя рамками англо-американского и западноевропейского мира – основы нашего жизненного опыта и культуры – и не касалась Восточной Европы, которая, несмотря на всю важность, относится к другой традиции. В выборе у меня был единственный критерий. Тема книги должна реально отражать описываемый период и оказывать влияние на цивилизацию до 1914 года, а не после. Такой подход исключал из детального описания автомобили и аэропланы, Фрейда и Эйнштейна и их учения. Я сознательно не включала эксцентричные сюжеты, несмотря на их завлекательность.

Я понимала, что не предлагаю всеобъемлющего заключения, поскольку любые обобщения могут оказаться спорными. Знаю также, что не даю полной картины. Это не проявление напускной скромности, а признание неизбежности упущений. Лица и голоса тех, о ком не рассказала, мелькают и стонут вокруг меня, пока я дописываю последние страницы.

*Барбара У. Такман*

## 1. Патриции. Англия: 1895—1902

Последнее правительство на Западе, сохранявшее дееспособность всех атрибутов аристократии, сформировалось в Англии в июне 1895 года. Великобритания находилась в зените имперского могущества, и когда консерваторы в этом году победили на всеобщих выборах, их кабинет казался выдающимся и блистательным отображением нации. Он состоял из крупнейших землевладельцев страны, чьи привычки властвовать передавались из поколения в поколение. Как самые совершеннейшие граждане, они были преисполнены чувством долга перед государством, убежденные в том, что призваны защищать его интересы и управлять им. Эту святую обязанность они исполняли по наследству, по давно заведенному обычаю и, как им думалось, по праву.

Премьер-министром был маркиз и наследный потомок отца и сына, служивших в свое время первыми министрами при королеве Елизавете и Якове I. Военным министром был еще один маркиз, в роду которого менее знатный титул барона наследовался с 1181 года. Его прадед был премьер-министром при Георге III, а дед служил в шести кабинетах при трех монархах. Лорд председатель Тайного совета был герцогом. Он имел 186 000 акров земли в одиннадцати графствах. Его предки входили в правительство с XIV века, и сам он уже тридцать четыре года трудился в палате общин и трижды отказывался от поста премьер-министра. Министром по делам Индии был сын герцога, чье родовое место в парламенте пожаловал еще Роберт Брюс в 1315 году и чьи четверо сыновей тоже служили в парламенте. Совет местного самоуправления возглавлял выдающийся сельский помещик. Шурином у него был герцог, зятем – маркиз, а предком – лорд-мэр Лондона при Карле II, да и сам сквайр уже двадцать семь лет заседал в парламенте. Лорд-канцлер унаследовал родовое имя, привезенное в Англию норманнским сподвижником Вильгельма Завоевателя и сохранявшееся более семи веков, правда, без титулов. Лордом-наместником Ирландии был граф, внучатый племянник герцога Веллингтона и потомственный попечитель Британского музея. В кабинет также входили виконт, три барона и два баронета. В числе шести коммонеров<sup>1</sup> были директор Банка Англии, а также сквайр, чье семейство представляло в парламенте одно и то же графство с XVI века, лидер палаты общин, приходившийся премьер-министру племянником и оказавшийся наследником огромного состояния в Шотландии – 4 000 000 фунтов стерлингов, и загадочная личность из Бирмингема, считавшаяся самым успешным промышленником в Англии.

Помимо состояний, титулов, земель и вековых родословных, новый кабинет, удручая оппозицию, обладал, как сетовал один из ее представителей, «пугающим избытком талантов и способностей»<sup>1</sup>. Прочно утвердившись во власти, опираясь на электоральное большинство в палате общин и перманентное большинство в палате лордов, где четыре пятых пэров были консерваторами, это правительство, по словам того же оппозиционера, могло диктовать свою политику «с позиций непреодолимой силы».

К тому же ряды консерваторов пополнили виги-аристократы, в 1886 году отделившиеся от партии либералов, не желая соглашаться с гомрулем самоуправления Гладстона для Ирландии. Это были преимущественно крупные землевладельцы, которые, подобно своим собратьям-тори, считали унию с Ирландией несокрушимой и священной. Вначале отщепенцы, возглавлявшиеся герцогом Девонширским, маркизом Лансдауном и Джозефом Чемберленом, сохраняли независимость, но в 1895 году присоединились к консервативной партии, и две группировки образовали юнионистскую партию, имея в виду проводить единую политику. Исключая Чемберлена, это была коалиция людей, взращенных и воспитанных на вековых пред-

---

<sup>1</sup> Не принадлежащих к знати.

ставлениях о неразрывности землевладения и властвования. Начиная с того времени, когда саксонские вожди созвали первую ассамблею, чтобы давать советы королю, лендлорды Англии посылали своих представителей в парламент и исполняли обязанности шерифов, мировых судей и наместников в своих графствах. Они приучились управлять, владея огромными поместьями, и верили в свое предназначение распоряжаться государственными делами с такой же твердой убежденностью, с какой бобры строят плотины. Для них управление государством было столь же предопределенной и естественной миссией.

Но над этой идиллией нависли угрозы. Они надвигались со всех сторон. Радикалы в оппозиции заговорили о необходимости облагать налогами приращение стоимости земельной собственности. Гомрулеры настаивали на отделении Ирландии, приносившей Англии немалый доход. Тред-юнионы требовали представительства в парламенте, узаконивания прав на забастовки и других мер участия в экономической жизни. Социалисты призывали национализировать собственность, анархисты – ликвидировать ее. Малопонятные опасности вызревали за рубежом, в том числе от новых наций. Ропот был пока отдаленный, однако те, кто призван заниматься государственными делами, не могли не слышать его, а в нем заключалось одно и то же послание – требование перемен.

Не желал никаких перемен и ревностно оберегал существующий порядок потомственный пэр, умный и расчетливый политик, пожизненный канцлер Оксфордского университета, дважды занимавший пост министра по делам Индии и в третий раз ставший премьер-министром. Этим незаурядным человеком был Роберт Артур Толбот Гаскойн-Сесил, лорд Солсбери, 9-й граф и 3-й маркиз в роду.

Лорд Солсбери был типичным и в то же время необычным представителем своего класса, если, конечно, не считать отличительность тоже характерной особенностью людей определенного социального слоя. Он всегда выделялся высоким ростом, шесть футов и четыре дюйма, страдал близорукостью, а в молодости был тощий, сутулый, нескладный и, редкость для англичанина, черноволосый. Теперь ему стукнуло шестьдесят пять, лорд раздобрел, плечи его отяжелели, усиливая впечатление сутулости, они, казалось, прогибались под грузом массивной, полысевшей головы, обрамленной окладистой, курчавой и седой бородой. Его, меланхолического, наделенного высочайшим интеллектом, но склонного к лунатизму и приступам депрессии, которые он называл «нервными бурями»<sup>2</sup>, едкого, бестактного, рассеянного, уставшего от общества и полюбившего уединение, обладавшего пронизательным, скептическим и критическим складом ума, называли Гамлетом политического истеблишмента Англии. Он был выше условностей, отказавшись жить в резиденции на Даунинг-стрит. Он был набожным человеком и питал глубокий интерес к науке. Дома он каждое утро перед завтраком посещал семейную часовенку и в свободное время проводил эксперименты в собственной химической лаборатории. На речке в своем поместье Хатфилд он построил электростанцию и первым в Англии провел в дом электрическое освещение. Когда провода начинали искрить или шипеть, домохозяева привычно забрасывали их подушками<sup>3</sup>, продолжая в то же время беседовать и спорить, что было присуще образу жизни всех Сесилов.

Лорда Сесила совершенно не интересовал спорт, еще меньше – жизнь людей. Его индифферентность усугублялась близорукостью до такой степени, что однажды он не узнал члена собственного правительства, а в другом случае – своего дворецкого. На завершающем этапе Англо-бурской войны он взял в руки подписанную фотографию короля Эдуарда, посмотрел на нее задумчиво и сказал: «Бедняга Буллер (имея в виду главнокомандующего, начинавшего войну), ну и натворил ты дел!»<sup>4</sup> В другой раз видели, как он долго разговаривал на военные темы с кем-то из младших пэров в полной уверенности, что беседует с фельдмаршалом лордом Робертсом.

Ничего не значили для него и лошади, эти непременные компаньоны и друзья англичанина из высшего общества. Верховую езду он считал всего лишь одним из способов передвижения, в котором лошадь была «необходимой, но крайне неудобной принадлежностью»<sup>5</sup>. Не любил лорд и охоту. Когда сессии парламента закрывались, он не уезжал на север отстреливать куропаток в торфяниках или выслеживать оленей в шотландских лесах, а если протокол обязывал нанести визит в королевскую резиденцию в Балморале, то лорд уклонялся от прогулок и, как писал Генри Понсонби, личный секретарь королевы Виктории, «категорически отказывался от удовольствия полюбоваться пейзажем или оленем». Понсонби давали указания поддерживать «тепло» в комнате лорда в мрачном и холодном замке, не ниже шестидесяти градусов<sup>2</sup>. Каникулы Сесил проводил во Франции, где у него была вилла в Больё на Ривьере и где лорд мог употребить превосходное знание французского языка и предаться чтению «Графа Монте-Кристо», единственной книги, позволявшей, как он сказал однажды Дюма-сыну<sup>6</sup>, забыть о политике.

Из всех игр лорд Сесил предпочитал теннис, но, постарев, придумал собственный способ физических упражнений. Ранним утром он разъезжал на трехколесном велосипеде в парке Сент-Джеймс или по длинным дорожкам в своем поместье Хатфилд, специально забетонированным для этой цели. Он надевал шляпу в виде сомбреро и короткий безрукавный плащ с дырой посередине и выглядел в этом одеянии как монах. Его сопровождал юный кучер, толкавший сзади в спину на подъемах. На спусках молодой человек получал команду «запрыгивать»<sup>7</sup>, и премьер-министр с кучером за спиной неся вниз, плащ его развевался, и педали неистово крутились.

Поместье Хатфилд находилось в двадцати милях к северу от Лондона в Хартфордшире и принадлежало Сесилам почти три века, с того времени, когда Яков I отдал его в 1607 году своему премьер-министру Роберту Сесилу, 1-му графу Солсбери, в обмен на дом Сесила, любившийся королю. Здесь была королевская резиденция, где прошло детство королевы Елизаветы и где она, узнав о восхождении на трон, созвала первый совет, на котором привела к присяге Уильяма Сесила, лорда Берли на посту главного министра – государственного секретаря. Длинная галерея со стенами в узорчатых резных панелях и потолком из сусального золота имела протяженность 180 футов. Мраморный зал, названный так из-за черно-белого мрамора на полу, сиял как ювелирная шкатулка: его потолок сверкал позолотой, а стены были завешаны брюссельскими гобеленами. Красную гостиную короля Якова украшали семейные портреты кисти Ромни, Рейнолдса и Лоуренса. Библиотека была уставлена от пола до потолка рядами книг – 10 000 томов, переплетенных кожей и веленем. В других комнатах хранились «Письма из ларца» Марии, королевы Шотландии, доспехи, снятые с воинов Испанской армады, колыбель обезглавленного короля Карла I, парадные портреты Якова I и Георга III. За окнами зеленели живые изгороди тиса, подстриженные в виде зубчатых крепостных стен, и сад, столь необыкновенный, что Пипс написал о нем: ему никогда еще не приходилось видеть «такие красивые цветы и ягоды крыжовника, крупные, как мускатный орех»<sup>8</sup>. У входа висели флаги, захваченные в битве при Ватерлоо и подаренные герцогом Веллингтоном, страстным поклонником матери премьер-министра, 2-й маркизы, часто навещавшим замок. Ради нее он облачался в охотничье обмундирование «Гончих Хатфилда» во время полеваянья. Портрет 1-й маркизы написал сэр Джошуа Рейнолдс, она выезжала на охоту до последних дней, скончавшись в возрасте восьмидесяти пяти лет. Полуслепую и привязанную к седлу, престарелую маркизу сопровождал конюх, кричавший, когда она приближалась к изгороди: «Прыгайте, черт возьми, миледи, прыгайте!»<sup>9</sup>

<sup>2</sup> Около 15,5 градуса по шкале Цельсия. Здесь и далее примечания переводчика, если нет указания на примечание автора.

Именно эта незаурядная женщина придала новые силы роду Сесилов, который после Берли и его сына, правда, более не произвел на свет божий иные примеры высокого интеллекта. Скорее, посредственность последующих поколений характеризовалась, по словам одного из поздних Сесилов, «различной степенью исключительной глупости»<sup>10</sup>. Однако 2-й маркиз оказался деятельным и даровитым человеком, наделенным к тому же обостренным чувством долга перед нацией: ему довелось служить в нескольких кабинетах тори середины века. Его второй сын, тоже Роберт Сесил, в третий раз занял кресло премьер-министра в 1895 году. Он, в свою очередь, дал жизнь пятерым сыновьям, также ставшим выдающимися людьми. Один был генералом, другой – епископом, третий – государственным министром, четвертый – членом парламента от Оксфорда, пятый – самостоятельно добился пэрства на государственной службе. Имея в виду Сесилов, лорд Биркенхед заметил: «В судьбе людей, как и лошадей, большую роль играет то, что мы называем породой»<sup>11</sup>.

Еще в 1850 году в Оксфорде юному Роберту Сесилу предсказывали, что благодаря неуступчивому характеру он непременно будет премьер-министром. Действительно, всю жизнь он отличался бескомпромиссностью. Уже в молодые годы его выступления были язвительными и оскорбительно дерзкими. По словам Дизраэли, он «не принадлежал к числу людей, выбирающих выражения»<sup>12</sup>. Имя «Солсбери» стало синонимом «политической наглости». Роберт Сесил как-то сравнил ирландцев с готтентотами по неспособности к самоуправлению, а индийского кандидата в члены парламента назвал «черномазым»<sup>13</sup>. По мнению лорда Морли, читать его речи было одно удовольствие, поскольку в них «всегда содержалась какая-нибудь резкость, которую потом с восторгом вспоминаешь»<sup>14</sup>. Случайно ли произносились колкости – об этом никто не знает. Хотя лорд Солсбери, выступая, никогда не пользовался заметками, его речи были продуманными, осмысленными, совершенными и логически выстроенными. В те времена ораторское искусство было неотъемлемой частью экипировки государственного деятеля, и человек, зачитывавший текст, вызывал жалость. Когда же говорил лорд Солсбери, по словам коллеги, «каждая фраза играла и производила впечатление, как мускулы на теле атлета»<sup>15</sup>.

Перед аудиторией, которая не представляла для него никакого интереса, он испытывал неловкость. В верхней палате, где ему внимали люди, равные по положению и званию, он чувствовал себя как дома. Солсбери говорил зычно и жестко, перемежая ледяные и издевательские насмешки и сарказм. Когда недавно титулованный виг взял слово и начал поучать палату лордов в привычном для вигов высокопарном стиле, Солсбери, поинтересовавшись у соседа именем оратора и услышав ответ, произнесенный шепотом, умышленно громко сказал: «А я думал, что он уже умер»<sup>16</sup>. Слушая других, лорд быстро уставал и изображал скуку, демонстративно покачивая ногой, что, по замечанию одного очевидца, должно было означать: «Когда же все это закончится?»<sup>17</sup> Иногда он, отрывая каблучки от пола, начинал подрагивать ногами и мог продолжать это занятие по тридцать минут без перерыва. Дома, если ему надоедали гости, он тарабанил ногами так, что сотрясал пол и мебель. В палате лордов коллеги на передней скамье жаловались<sup>18</sup> на возникновение ощущений морской болезни. Если же бездействовали ноги, то приходили в движение его длинные пальцы: он непрестанно вертел в руках канцелярский нож или выбивал дробь на коленках или подлокотниках.

Он никогда не ел вне дома и крайне редко, один – два раза, устраивал приемы в своей городской резиденции на Арлингтон-стрит и от случая к случаю – званые ужины в саду Хатфилда. Лорд Солсбери избегал бывать в «Карлтоне», официальном клубе консерваторов, предпочитая ему «Джуниор Карлтон», где у него был отдельный столик, а в библиотеке таблички призывали к «тишине». Он работал от завтрака до часу ночи и появлялся в кабинете после обеда, будто начинался новый рабочий день. Одевался лорд неброско и даже неопрятно. Он

носил брюки и жилет невзрачного серого цвета, а сюртук из черного тонкого сукна давно вытерся до блеска. Непритязательный в одежде, лорд Солсбери особенно следил за состоянием своей бороды, регулярно подстригал ее, надзирая за действиями парикмахера и время от времени давая указания «немного подравнять здесь и здесь», после чего «мастер и объект его творчества глядели в зеркало, оценивая результаты»<sup>19</sup>.

Несмотря на острый язык и саркастичность, лорда Солсбери обожали коллеги, что, по словам одного из них, «немало способствовало достижению согласия»<sup>20</sup>. Он непритворно радел за интересы партии и жертвовал ради ее блага своей неприступностью. Рассказывали, как он однажды удивил всех, приняв приглашение на традиционный званый обед, устраиваемый для сторонников партии лидером палаты общин. Солсбери попросил дать ему заранее биографические сведения о каждом участнике мероприятия. На обеде премьер-министр оживленно говорил с соседом по столу, известным агрономом, о севообороте и скотоводстве, затем уделил внимание каждому гостю и перед уходом, подзвав личного секретаря, сказал ему: «Думаю, я их всех положил на лопатки»<sup>21</sup>. Но одного я так и не вычислил, того, который, как ты говорил, за словом в карман не лезет».

Гладстон, ярый противник в политической философии, отзывался о нем как о «джентльмене – душе частного общества»<sup>22</sup>. В частной жизни Солсбери был приятным и благожелательным человеком, полной противоположностью тому представлению, которое сложилось о нем как о государственном деятеле. Мнение публики или так называемого простого народа, который, по его понятиям, был неотесанным, для Солсбери не имело никакого значения. Можно сказать, он игнорировал народные массы и ничего не делал для того, чтобы приобрести популярность, благодаря которой политического лидера узнают на улицах и присваивают прозвища вроде «Пама», «Диззи» или «Великого старца». Даже в прессе, в том числе и в журнале «Панч», лорда Солсбери называли не иначе как «лордом Солсбери». Он никогда не скрывал своей нелюбви к толпе, к любой стадности, «включая и палату общин»<sup>23</sup>. Перебравшись к лордам, он больше не появлялся в палате общин для того, чтобы во время дебатов посидеть в галерее пэров или побеседовать с депутатами в лобби, а если ему приходилось упоминать ее в речах перед лордами, то он говорил с пренебрежением, уничижительно, удивляя бывших коллег, пришедших послушать его выступление. В этой нарочитой позе выражалось глубоко засевшее самомнение патриция. Ему были безразличны ранги, почести и другие формы общественного признания. Просто Сесил, великий лорд Сесил, от рождения испытывал чувство превосходства и предназначение властвовать и не желал делиться с кем-либо наследственными правами.

Сесил стал членом парламента в возрасте двадцати трех лет обычным для пэрских отпрысков путем, получив мандат от «семейного» избирательного округа, в котором исключалось какое-либо соперничество. Пять раз он переизбирался в том же округе, пятнадцать лет держал речи в палате общин, последние двадцать семь лет заседал в палате лордов и не имел ни малейшего представления о борьбе за голоса избирателей. Сесил не считал, что несет ответственность перед народом, а видел себя в роли благодетеля, ответственного за его судьбу. Он – не слуга, а отец народа. Если он и почитал кого-либо или что-либо, то лишь монархов и монархию. Он уважал королеву Викторию, которая была старше его лет на десять, и как верноподданный, и как джентльмен, всегда готовый преклониться перед дамой. В ее присутствии он не позволял резких и грубых выражений, если даже не мог скрыть скуку в Балморале.

Королева навещала его в Хатфилде, всецело доверяла ему, называла, как она сама говорила епископу Карпентеру, «если не достойнейшим, то одним из самых достойных среди своих министров»<sup>24</sup>, включая и Дизраэли. Только лорду Солсбери, которому «всегда было тяжело стоять на ногах»<sup>25</sup>, она предлагала присесть. Крошечная престарелая королева и высокий, гро-

моздкий премьер-министр испытывали друг к другу неподдельные чувства симпатии и пие-тета.

В маловажных делах Солсбери проявлял такую же обыденную отрешенность, как и в одежде. Когда на вакантное место епископа были предложены два священнослужителя с одинаковыми именами, он назначил того из них, которого не поддерживал архиепископ Кентерберийский. Выслушав сожаления иерарха, премьер-министр сказал: «О-о! Думаю, он справится с обязанностями не хуже»<sup>26</sup>. Со всей серьезностью он относился только к проблемам действительно серьезным, а самой серьезной для него была проблема поддержания влияния и всевластия аристократии. И стремился он к этому не из прихоти, а из глубокого убеждения в том, что лишь аристократия сможет уберечь единство нации от нарастающей угрозы демократии, которая, как он считал, «развалит ее и превратит в месиво из недружественных и vzdорящих фрагментов»<sup>27</sup>.

Величайшим злом для него были классовая война и безбожие, и он ненавидел социализм не столько из-за его угрозы собственности, сколько из-за проповеди классовых войн и материализма, опасных для духовных ценностей. Он не отвергал реформы, но считал, что их надо проводить на основе взаимодействия и прессинга всех существующих социальных сил. В 1897 году при его поддержке был принят закон о материальных компенсациях рабочим, возлагавший ответственность за производственный травматизм на фабрикантов, хотя некоторые члены его же партии выступали против билля, усматривая в нем посягательство на свободу частного предпринимательства.

Премьер-министр отклонял любые предложения, нацеленные на повышение политической роли народных масс. Пребывая еще в положении младшего сына и не имея титула, лорд Роберт Сесил, как его тогда величали, в начале шестидесятых годов, едва перешагнув тридцатилетний рубеж, изложил свои политические взгляды в серии статей, опубликованных в журнале «Куотерли ревью»<sup>28</sup>. Полемизируя с модными в то время призывами к реформе и расширению избирательного права, он заявил, что консервативная партия обязана всемерно защищать привилегии имущего класса как «единственного бастиона», противостоящего толпе. Расширить избирательное право, по его мнению, означало бы не только предоставить рабочему классу доступ в парламент, но и наделить «заурядную массу людей властью, которой они не должны обладать». Сесил корил либералов за угодничество перед рабочим классом, будто рабочие чем-то отличаются от других англичан, тогда как все их отличие состоит в том, что они малообразованные и малоимущие, а «когда собственности мало, велик риск злоупотребления правом голоса». Он доказывал: демократия опасна для свободы, поскольку в условиях демократии «господствуют страсти, а не правила» и «совершенно невозможно» доверять дальновидную и беспристрастную политику «людям, чьи умы не приучены мыслить и приобретать знания». Если предоставить право голоса бедным слоям населения, писал лорд, и повысить налогообложение богатых, то это приведет к полному отчуждению власти от ответственности и «богатые будут платить все налоги, а бедные – принимать все законы».

Он не верил в возможность политического равенства. В его миропонимании существовали массы и «естественные» лидеры. «Всегда богатство, в некоторых странах родовитость, во всех странах интеллект и просвещенность выделяют того человека, которому община в здравом состоянии чувств и ума поручает управлять ею». У таких людей есть и свободное время, и достаточное состояние, и «их амбиции не запачканы низменными пристрастиями к алчности». «Существует аристократия государства, в подлинном и самом высоком значении этого слова... Важно, чтобы правители страны избирались из ее рядов» и сохранялось ее классовое «политическое превосходство, обладать которым она имеет полное право, какое может дать только наивысшая пригодность».

Настолько искренней и твердой была его вера в «наивысшую пригодность» аристократии, что в 1867 году, после того как правительство тори одобрило билль о второй реформе, удвоивший электорат и давший право голоса рабочим городов, 37-летний Солсбери демонстративно покинул министерский пост, не прослужив и года, в знак протеста против предательства принципов партии консерваторов. Отступление партии, ловко инициированное Дизраэли ради «ублажения вигов», но в большей мере учитывавшее политические реалии, возмутило до глубины души лорда Кранборна (как тогда уже называли лорда Роберта Сесила после смерти старшего брата в 1865 году). Хотя это и могло навредить карьере, он ушел с поста министра по делам Индии и выступил с резкой и обличительной речью в палате общин, осуждая политику лидеров партии лорда Дерби и господина Дизраэли<sup>29</sup>. Он призвал коллег по партии не обольщать себя надеждами заработать политические дивиденды на том, что может привести к их исчезновению как класса: «Богатства, интеллект, энергия, все, что придает вам силы и вселяет гордость за нацию, вся значимость обсуждений в палате общин, все это потеряет смысл». Возникнут проблемы, столкнутся интересы наемных рабочих и нанимателей, и их можно будет разрешить только силой. «В этом конфликте политических сил вы сталкиваете подавляющее большинство наемных рабочих с беспомощным меньшинством нанимателей». В результате вы добьетесь «политического уничтожения и искоренения классов, которые до сего времени вносили основной вклад в величие и процветание страны».

Через год после смерти отца он стал членом палаты лордов как 3-й маркиз Солсбери. Но и в 1895 году, по прошествии почти тридцати лет, его политические принципы нисколько не изменились. Не веря в то, что перемены только к лучшему, а будущее лучше настоящего, он «жестко и въедливо»<sup>30</sup> старался сохранить существующий порядок. Для него титул, лишенный реальной власти<sup>31</sup>, которую прежде символизировал, был всего лишь бутафорией, и Солсбери ревностно подавлял посягательства на власть того класса, наглядными символами которого служили дворянские звания. Он осознавал опасность и пытался остановить процесс обновления эпох. Демократия надвигалась, напирала со всех сторон, но еще не могла одолеть сопротивление человека, которого лорд Керзон назвал «эдаким странным, могущественным, непостижимым и блистательным заградительным дедвейтом»<sup>32</sup>.

Заурядного представителя правящего класса, не обремененного чересчур аналитическим и чересчур пронизательным умом лорда Солсбери, мало волновало будущее; он наслаждался великолепными благами настоящего. Эра благоденствия привилегированного класса, хотя его образ жизни и подвергался нападкам, и местами давал трещины, на исходе XIX века и Викторианской эпохи, казалось, установилась навечно. Он чувствовал себя «комфортно и в полной безопасности»<sup>33</sup>, по всей стране «царил покой». Конечно, многих покоробил бюджет сэра Уильяма Харкорта на 1894 год, принятый либералами во время премьерства лорда Роузбери, неудачливого преемника Гладстона. Вводились налоги на наследство. Мало того, они варьировались от 1 процента на имение стоимостью 500 фунтов до 8 процентов на имения стоимостью более миллиона фунтов. Повысился подоходный налог – на один пенни с каждых восьми пенсов в одном фунте. Дабы смягчить удар и разделить бремя, правительство ввело акциз на пиво и алкоголь с тем, чтобы рабочий класс, не плативший подоходный налог, тоже участвовал в пополнении бюджета. Однако эта мера не помогла сгладить тяжелое впечатление, произведенное «покойничками пошлинами». 8-й герцог Девонширский мрачно предсказал, что «доживет до того времени», когда великие поместья, подобные его Чатсуорту, исчезнут «под гнетом несносных демократических финансовых претензий»<sup>34</sup>.

Но в 1894 году случилось и радостное для консерваторов событие, компенсировавшее бюджетные тревоги. Парламент и вообще политику покинул господин Гладстон. Его последняя попытка провести закон о гомруле потерпела сокрушительное поражение в палате лор-

дов от гневной ассамблеи пэров, сформированной специально для этой цели небывалой до сего времени численностью. Он безнадежно расколол партию, ему уже исполнилось восемьдесят пять лет, карьера его закончилась. В следующем году консерваторы одержали победу, и создалась политическая атмосфера, в которой, по оценке «Таймс», превалировало убеждение, что с гомрулем, «этим вирусом, занесенным господином Гладстоном в нашу политическую жизнь и угрожавшим заразить весь организм»<sup>35</sup>, покончено, по крайней мере на какое-то время, и Англия может спокойно заняться текущими делами. Прочно утвердились «доминирующие факторы влияния»<sup>36</sup>.

Формулировку «доминирующие факторы влияния» придумала не консервативная «Таймс». Ее автор – сам господин Гладстон, представитель помещичьего сословия, никогда не забывавший об этом и свято веривший в то, что собственность означает ответственность. Он владел 7000 акрами земли в Гавардене и получал от 2500 арендаторов ежегодно ренту в размере от 10 000 до 12 000 фунтов стерлингов. В письме внуку, будущему наследнику, «великий радикал» завещал вернуть земли, потерянные из-за долгов предыдущими поколениями, и восстановить поместье Гаварден до прежних размеров и значимости «ключевого фактора влияния» в стране, поскольку общество не может существовать без своих «доминирующих факторов влияния». Ни один герцог не смог бы выразиться яснее по этой животрепещущей проблеме. Однако именно такой образ мыслей был присущ и консерваторам, его заклятым оппонентам, с которыми он, несмотря на политические раздоры, был солидарен, исповедуя ту же веру в «наивысшую пригодность» класса землевладельцев, обусловленную наследственной земельной собственностью, и крайнюю нужду в нем всей нации. Это кредо было полной противоположностью идеям, культивировавшимся в недавно родившихся Соединенных Штатах: особое достоинство заложено и в незнатном происхождении; добывается всего лишь тот, кто опирается на собственные силы; в легких и комфортных жизненных обстоятельствах человек скорее может стать тупоумным или порочным или тем и другим одновременно. У англичан, привыкших из поколения в поколение к власти имущего класса, выработалась иная жизненная позиция: долговременное сохранение одной семьей определенного уровня образованности, комфорта и социальной ответственности обеспечивает ей естественную основу «наивысшей пригодности».

В первую очередь, речь идет о «пригодности» для деятельности в правительстве, считавшейся в Англии, как ни в какой другой стране, наиболее адекватным занятием для джентльмена. Секретарская должность при министерском дяде или каком-нибудь ином родственнике могла быть подготовительным этапом на пути к посту члена кабинета или же перманентным призванием для джентльмена вроде сэра Шомберга Макдоннелла, личного секретаря лорда Солсбери и родного брата графа Антрима. Дипломатия сулила неплохую карьеру, особенно людям даровитым. Маркиз Дафферин-Ава, пребывая в 1895 году британским послом в Париже, выучил персидский язык<sup>37</sup> и отметил в дневнике, что, помимо прочтения одиннадцати пьес Аристофана на греческом языке, наизусть запомнил 24 000 слов из персидского словаря, «8000 в совершенстве, 12 000 – достаточно хорошо и 4000 – удовлетворительно». Служба в одном из элитных гвардейских, гусарских или уланских полков тоже вполне подходила для отпрысков из богатых и знатных семей, хотя она больше привлекала молодежь с менее ярко выраженными умственными способностями. Не очень состоятельные наследники становились священниками или шли служить на флот. Адвокатура и журналистика притягивали тех, кто стремился приобрести общественное влияние и попасть во власть. Самым же подходящим и желанным местом для демонстрации «наивысшей пригодности» был, конечно, парламент. Оттуда открывалась дорога в кабинет министров, где можно было добиться и влияния, и власти, и членства в Тайном совете, и пэрства при выходе в отставку. Тайный совет, состоявший из 235 лидеров всякого рода деятельности, хотя и исполнял в большей мере формальные и цере-

мониальные функции, имел тем не менее репутацию необычайно важного для нации государственного органа. Пэрство обладало магической способностью возвышать обладателей титула над всеми остальными людьми. Министерские посты были чрезвычайно соблазнительны и всегда служили предметом горячих дебатов и закулисных интриг. Когда происходила смена правительства, ничто так не занимало британское общество, как перипетии формирования кабинета. В клубах и салонах разгорались жаркие дискуссии, организовывались и реорганизовывались союзы и альянсы, победители сразу же приобретали сановный вид. От победителей требовалось прилагать максимум усилий, готовность трудиться, не считаясь со временем, и минимум профессиональных знаний. Сам министр делами мог не заниматься, он должен был следить за тем, как они исполняются подчиненными, управляя министерством как своим именем. Детали, наподобие точек в десятичных дробях, которые лорд Рэндольф Черчилль, будучи канцлером казначейства, назвал «этими чертовыми козявками»<sup>38</sup>, его не касались.

Члены кабинета лорда Солсбери, в большинстве своем, хотя и не все, имевшие земли, состояния и титулы, вошли в правительство не ради каких-то материальных благ. Они понимали свою миссию как единственно верное и необходимое предназначение: государственными делами должны заниматься люди, не подверженные, согласно лорду Солсбери, «приступам алчности». В парламентской карьере, естественно, не оплачиваемой, видели не источник дохода, а средство обрести общественное признание. Палата общин была политической штаб-квартирой страны, всей империи, британского общества, здесь собрались лучшие люди королевства. Они пришли сюда, движимые амбициями, но и по зову долга; собственно, для многих это было столь же естественно и неизбежно, как и родиться аристократом. Отцов в парламенте сменяли сыновья, нередко те и другие служили в нем одновременно. Джеймс Лоутер, заместитель спикера с 1895 по 1905 год, а затем и спикер, происходил из семьи, представлявшей электорат Уэстморленда более или менее непрерывно в продолжение шести столетий. Его прадед и дед заседали в парламенте по полвека каждый, а отец посвятил палате общин двадцать пять лет. Представителем графства в парламенте обыкновенно был человек, чей дом все в округе почитали на расстоянии семидесяти миль, его семью знали несколько сот лет, а его самого – со дня рождения. Поскольку расходы на выборы и ублажение электората нес сам кандидат, то роскошь представлять избирателей в парламенте могли позволить себе люди определенного класса. Из 670 членов палаты общин в 1895 году 420 были помещиками, офицерами, адвокатами и лицами без определенных занятий. Среди них насчитывалось двадцать три старших сына пэров, помимо множества их младших сыновей, братьев, кузенов, племянников и дядьев, включая лорда Стэнли, наследника 16-го графа Дерби, который, после герцогов, считался самым богатым пэром в Англии. Как младшему правительственному «кнуту», Стэнли надлежало стоять у дверей лобби и собирать непослушных депутатов для голосования, хотя ему самому не разрешалось входить в палату во время исполнения обязанностей надзирателя. Он был вроде «прислужника высшего класса»<sup>39</sup>, писал один из знатоков британской парламентской жизни. По его мнению, то, что «наследник величайшего исторического рода и огромного состояния фактически исполнял функции лакея», свидетельствовало и о высоком чувстве долга, и о горячем стремлении к политической карьере.

Правящий класс поставлял стране не только правителей. В равной пропорции, как и другие классы, он порождал и балласт, людей никчемных, бесполезных, неудачников, шарлатанов, негодяев и обыкновенных недоумков. Помимо премьер-министров и созидателей империи, у нации были свои клубные пустомели и зануды, избалованные, карикатурные «Реджи» и «Алджи», обсуждающие в журнале «Панч» жилеты, воротнички и галстуки, длинноногие гвардейцы, умеющие глубокомысленно изрекать лишь «м-да» и «гм», горемыки, изнуряющие себя алкоголем, скачками и картами, и свои бездари, ничем не примечательные, не делающие ничего хорошего и ничего плохого. Даже в Итоне учились «скаги»<sup>40</sup>, юнцы, по словам

одного итонца, «необязательно дефективные, но явные болваны и, вероятно, дегенераты». И хотя «скаг» из Итона – не путать с «суотами» или «зубрилами» – мог лет через тридцать оказаться членом Тайного совета, некоторые выпускники оставались «скагами» всю жизнь. Сесил Бальфур, один из племянников лорда Солсбери, пропал в Австралии, сбежав туда из-за поддельного чека<sup>41</sup>, и умер там, как говорили, от пьянства.

Подобные отдельные инциденты нисколько не подрывали убежденность правящих семей в своем врожденном предназначении властвовать, не сомневалась в этом в значительной мере и остальная часть населения страны. Стать лордом, писал один особенно яркий представитель этого класса лорд Рибблсдейл в 1895 году, для многих – «по-прежнему очень заманчивая перспектива». Рибблсдейла прозвали «прародителем» благодаря внешности человека эпохи Регентства, и во всем его облике воплощался образ истинного патриция до такой степени, что Джон Сингер Сарджент, прославлявший класс и типажи аристократов, не устоял и написал его портрет<sup>42</sup>. Он изображен в полный рост, как главный королевский распорядитель по охоте и содержанию своры гончих, в длинном пальто для верховой езды и высоких сверкающих сапогах, с цилиндром на голове и плетеным арапником в руке. Лорд Рибблсдейл портретиста Сарджента смотрит на мир с такой прирожденной надменностью, самоуверенностью и элегантностью, с какой на нас не взирал больше со стен галерей ни один другой аристократ. Картину показали на ежегодной выставке изобразительного искусства в Париже, Рибблсдейл пришел посмотреть на нее, и за ним по пятам из зала в зал ходили потрясенные французы, говоря друг другу шепотом: *“Ce grand diable de milord anglais”*<sup>43</sup>.

Когда на открытии «Аскотской недели скачек» лорд Рибблсдейл вел королевскую процессию по зеленой дорожке ипподрома, восседая на светло-каштановом жеребце, от его точечной фигуры в темно-зеленом мундире с золотым поясом на фоне голубизны июньского неба невозможно было оторвать глаз. В роли «кнута» либералов в палате лордов, члена совета Лондонского графства и главного попечителя Национальной галереи он тоже участвовал в управлении государственными делами. Подобно многим другим особам с голубой кровью, лорд не чурался простого люда, обеспечивавшего досуг и содержавшего имения помещиков. Когда королева наградила медалью за пятьдесят лет добросовестной службы Дж. Майлза, хохлившего собак, Рибблсдейл прискакал из Виндзора, поздравил его и остался «выпить чаю и потолковать» с миссис Майлз. Лорд писал о себе и других дворянах: «Беззаботная жизнь с малых лет обыкновенно приучает к добродушию... Испытывать довольство собой, возможно, эгоистично, и это, возможно, даже дурно, но редко бывает неприятно, а скорее наоборот – очень даже славно». Несмотря на попытки либеральной прессы изображать пэров «вялыми меланхоликами с покатыми лбами и сходящимися коленями», они в представлении Рибблсдейла по-прежнему пользовались уважением и авторитетом. Можно сказать, он не отделял себя от интересов и забот своего графства, поддерживал дружеские отношения с арендаторами, крестьянами и торговцами и никогда не позволил бы себе сделать что-либо «порочащее доброе имя и испытанное временем добрососедство». И все же, несмотря на комфортное существование, Рибблсдейл не мог не ощущать приближения грозы, взяв через тридцать лет девизом для своих мемуаров слова Шатобриана: «Я сохранял сильную любовь к свободе, присущей только аристократии, последний час которой пробил».

Середина лета – пора неги, и лондонское общество в полной мере предавалось удовольствиям и забавам. Титулованному гостю из Парижа показалось, будто «в июне и июле боги и богини покинули свой Олимп и хлынули в Англию»<sup>44</sup>. Аристократы и аристократки, «витая в золотых облаках, роскошествовали с такой же пылкостью и естественностью, с какой цветы

<sup>3</sup> «Этот детина – английский лорд» (фр.).

распускаются в саду». Вслед за принцем Уэльским шла «флотилия белых лебедей, чьи грациозные длинные шеи венчались прелестными головками, украшенными изумительными драгоценностями»: экипажи леди Гленконнер, герцогини Ленстер и леди Уорик. Герцогиня, умершая юной в восьмидесятых годах, по словам лорда Эрнеста Гамильтона, была «божественно высокой и статной женщиной и... красоты дивной, почти невыносимой»<sup>45</sup>. Ее преемница, графиня Уорик, «самая прелестная замужняя женщина в Лондоне», была любовницей принца Уэльского, спровоцировав громкий скандал, когда лорд Чарльз Бересфорд чуть было не ударил своего будущего сюзерена. Она представлялась светскому журналу «богиней с округлыми формами, просвечивавшими сквозь прозрачные одеяния, ослепительно прекрасным и надменным выражением лица и известностью, проникшей в самые отдаленные и глухие окраины безмятежной страны». Она была воплощением Красоты, магического символа, придающего его владельцу общественную значимость. «Вставай, Дейси! – говорила мать дочери, измученной качкой, когда судно причалило к пирсу после штормового перехода через Ирландское море. – Люди собрались взглянуть на тебя».

Фешенебельные площади Беркли и Белгрейв заполнились толпами народа. Дома оставались, наверное, лишь те, кто готовился отправиться в мир иной. День начинался в десять утра с галопа в парке и заканчивался балами в три ночи. На особом месте между воротами Альберта и Гросвенор в Гайд-парке непременно можно было встретить кого-нибудь из узкого круга избранного общества во время утренней верховой езды или послеобеденной прогулки между чаем и ужином. В Лондоне еще не исчез дух Георгианской эпохи. В окнах домов стояли цветы, в особняках на площадях жили семьи, в честь которых они названы: Девоншир-хаус, Лансдаун-хаус, Гросвенор-сквер, Кадоган-плейс. По улицам разъезжали роскошные экипажи. Дамы в двухместных колясках, подгоняя своих коренастых и горделивых кобов, театрально щелкали кнутом, чувствуя на себе заинтересованные взгляды джентльменов, посматривающих на них из окон клубов. Джентльмены, вздыхая, говорили друг другу<sup>46</sup>: «Как это мило, когда очаровательная женщина управляет парой великолепных лошадей». Неподалеку гарцевали королевские конные гвардейцы в алых мундирах и белых панталонах, покачиваясь в седлах на черных скакунах с позвякивавшими и сверкавшими на солнце уздечками. Время от времени появлялись грациозные силуэты кебов и профили их седоков, известных государственных деятелей и клубных светил, ехавших с визитами или в свои клубы на Пэлл-Мэлл и Пиккадилли: «Карлтон» и «Уайтс» – для консерваторов, «Реформ» или «Брукс» – для либералов, «Атенеум» – для ученых, писателей и других талантов, «Терф» – для спортсменов, «Будлз» – для любителей верховой езды, «Травеллерз» – для бизнесменов и дипломатов, где они могли пообщаться с людьми, подобными себе. Проблемы правительства и империи обсуждались в самом главном «клубе» Лондона – палате общин. Ее библиотека, курительная комната, столовая, слуги, официанты и винные погреба вполне удовлетворяли запросам джентльмена. Дамы в широкополых шляпах и длинных платьях пили чай с депутатами и министрами, уточняя политические сплетни, на террасе, откуда открывался чудесный вид на Ламбетский дворец архиепископов на другом берегу Темзы.

За частными обеденными столиками, завешанными ветвями смилакса и окруженными официантами, стоявшими у каждого кресла, джентльмены во фраках и белых галстуках галантно беседовали с дамами, обольщавшими их обнаженными плечами, едва закрытыми облачком тюли, сиянием звезд и диадем в волосах. Разговор велся не обыденный, и тем и другим надлежало продемонстрировать определенный уровень «компетентности и престижа». В оперном театре, ставшем очень модным благодаря стараниям его деятельной патронессы леди де Грей, Нелли Мельба исполняла любовные арии, очаровывая всех своим ангельским сопрано, на пару с обаятельным тенором Яном де Решеке. В королевской ложе притягивала одобрительные мужские и завистливые женские взгляды пленительная леди Уорик в алом мефистофельском бархатном платье с просторным вырезом на груди, «всего лишь несколькими бриллиан-

тами» и алым султаном на голове. Мириады лорнетов устремились в сторону леди де Грей, соперницы леди Уорик в состязании на титул самой стильной женщины в Лондоне, дабы оценить ее одеяние. Как-никак, на званых обедах у леди Грей, прозванных «богемами тиар»<sup>47</sup>, среди гостей бывали сама мадемуазель Мельба, принц Уэльский и до рокового 1895 года – Оскар Уайльд. Каждый вечер у нее превращался в политические дебаты, продолжавшиеся до полуночи, и завершался танцами до утра. Верхнюю строчку в рейтинге лондонского Олимпа богинь занимали герцогиня Девонширская и леди Лондондерри, арбитры общества. Сверкая бриллиантами, они принимали, пожалуй, самую многочисленную череду именитых гостей, и дворецкий без усталости объявлял громовым голосом: «его милость...», «его высочество...», «достопочтенный...», «лорд и леди...», «его превосходительство...», а у подъезда лакей в ливрее провожал отъезжавшие кареты.

Общество разделялось на сегменты, неформальные содружества, связанные определенными интересами: они держались особняком, но иногда соприкасались и даже смешивались. Символами «резвого» или «шалопутного» дома Мальборо были сигара и пунш, ганноверская наружность с выпирающим носом и подбородком, коротко подстриженная седая борода и располневшая, но все еще царственная фигура принца Уэльского. Эклектичный, общительный и смертельно уставший от монотонности придворного режима, предписанного вдовой матерью, принц с радостью допускал в свой узкий круг аристократов и посторонних лиц при условии, если они ему показались внешне привлекательными, богатыми или занимательными. В числе таких людей могли быть и американцы, и евреи, и биржевые маклеры, и отдельные фабриканты, путешественники или какие-нибудь сиюминутные знаменитости. Среди его личных друзей было немало выдающихся деятелей, к примеру, адмирал сэр Джон Фишер, и следовало бы осудить как недружественный навет слух о том, будто он не прочел ни одной книги. Действительно, из всех современных писателей он предпочитал Марию Корелли, но проштудировал и первую книгу лейтенанта Уинстона Черчилля «История Малакандской действующей армии» с «превеликим интересом», великодушно отметив в записке автору «в целом превосходность описания и языка»<sup>48</sup>. Однако в его окружении к интеллектуалам и литераторам относились нелестно и умственные способности не приветствовались, поскольку, согласно леди Уорик, в обществе или по крайней мере в этом его сегменте «не желали утруждать себя размышлениями». Эти люди хотели жить себе в удовольствие, беззаботно, бездумно и экстравагантно. Пришельцы, особенно евреи, воспринимались неприязненно, «не потому, что они были неприятны нам индивидуально, а потому что были слишком умны и сметливы в финансах». Данное обстоятельство имело особое значение, ибо общество желало думать не о том, как зарабатывать деньги, а о том, как их тратить.

Строгими нравами отличались «неподкупные», стародавние, реакционные и особенно дорожившие своей классовой исключительностью семьи, считавшие пошлым и вульгарным окружение принца и лишь себя – столпами общества. Каждое семейство имело уйму бедных сельских родственников, время от времени привозивших в Лондон дочь, созревшую для замужества, но так и продолжавших жить понятиями XVIII века. Другой противоположностью фривольному содружеству принца были «интеллектуалы» или «духи», концентрировавшиеся вокруг Артура Бальфура, племянника лорда Солсбери, одаренного, блистательного и самого популярного человека в Лондоне. Они особенно выделялись образованностью, умом, осознанием интеллектуального превосходства и непомерным самолюбованием. Они получали удовольствие от общения друг с другом подобно тому, как необычайно красивая женщина наслаждается, глядя на себя в зеркало. «Вы любите долго сидеть и копаться в душах друг друга, – сказал как-то лорд Чарльз Бересфорд на званом обеде в 1888 году. – Поэтому я буду называть вас духами»<sup>49</sup>. С тех пор их так и называли. Сам лорд Чарльз, адмирал и яркий представитель содружества принца Уэльского, не относился к числу «духов», хотя и женился на женщине,

любившей надевать тиару с вечерним платьем и изображенной Сарджентом с двойным комплектом бровей<sup>50</sup>, поскольку, как объяснял художник, на ней всегда двойные брови – одни натуральные, а другие – подведенные карандашом.

У всех «духов» прекрасно сложились политические карьеры, и почти все они занимали министерские посты в правительстве лорда Солсбери. Самым примечательным из них оказался Джордж Уиндем, написавший книгу о французских поэтах и предисловие к труду Норта о Плутархе, а после службы ставший парламентским секретарем Бальфура, назначенного в 1898 году заместителем военного министра, несмотря на комментарий лорда Солсбери: «Я не люблю поэтов»<sup>51</sup>. «Духами» были и Джордж Керзон, заместитель министра иностранных дел, а затем вице-король Индии, и Сент-Джон Бродрик, военный министр. Оба были наследниками пэрства и оба тщетно протестовали против неизбежного перевода в палату лордов. Другие «духи» так или иначе имели прямое отношение к семейству Теннант. Альфред Литтелтон, чемпион в крикете, будущий министр по делам колоний, был женат на Лауре Теннант. Лорд Рибблсдейл женился на Шарлотте Теннант. На бракосочетании третьей сестры, Марго, с Асквитом, уходившим с поста министра внутренних дел, присутствовали два бывших премьер-министра Гладстон и лорд Роузбери и два будущих – Бальфур и сам жених. Особенно все обожали Гарри Каста, наследника баронского титула Браунлоу, мыслителя и атлета, остряка, благодаря лишь одной репутации получившего за обеденным столом предложение стать редактором «Пэлл-Мэлл газетт», не имея никакого опыта, согласившегося принять его и исполнявшего эту роль четыре года. Он был подвержен одному серьезному пороку – «фатальному потворству своим слабостям»<sup>52</sup> – прежде всего в отношениях с женщинами, которым казался «неудержимо притягательным». В результате его карьера пострадала и многообещающие возможности так и не реализовались.

Аристократическая корпорация была невелика, и ее *sine qua non*<sup>4</sup> была земля. Чужак мог оказаться в ней только лишь посредством приобретения имения, в котором надлежало жить, и даже этот способ не всегда приводил к нужному результату. Когда Джон Морли, в то время министр, посетил Скибо, где Эндрю Карнеги построил бассейн, и попросил сопровождающего высказать свое мнение<sup>53</sup>, тот рассудительно сказал: «Что ж, сэр, по-моему, это стиль парвеню».

В этом, по определению Уинстона Черчилля, «блистательном и могущественном сообществе»<sup>54</sup>, состоявшем из двухсот знатных семей, поколениями правивших Англией, все знали друг друга или были связаны родственными или иными узами. Осознание превосходства и благоприятные условия жизни стимулировали активное самовоспроизведение титулованного и нетитулованного дворянства: аристократы и помещики, как правило, обзаводились большими семьями, иметь пять или шесть детей считалось нормой, семь или восемь – желательным, девять и даже более – вполне вероятным достижением родителей. У герцога Аберкорна, отца лорда Джорджа Гамильтона, министра в правительстве Солсбери, было шесть сыновей и семь дочерей, 4-й барон Литтелтон, свояк Гладстона и отец Альфреда Литтелтона, воспитывал восемь сыновей и четырех дочерей, герцог Аргайлл, министр по делам Индии в правительстве Гладстона, тоже имел двенадцать детей. В результате бракосочетаний между семьями устанавливались родственные связи. На домашних приемах, на скачках и на охоте, на регате в Каусе, в академии, при дворе или в парламенте нередко можно было встретить троюродного брата, дядю шурина, сестру отчима или племянника тети. Когда премьер-министр формировал правительство, то никто не обвинял его в кумовстве, если некоторые члены кабинета оказывались в родственных связях с ним самим или друг с другом. Лорд Лансдаун, военный министр в кабинете 1895 года, был женат на сестре лорда Джорджа Гамильтона, министра по делам

---

<sup>4</sup> В данном контексте – «обязательный атрибут».

Индии, а дочь Лансдауна вышла замуж за племянника и наследника герцога Девонширского, лорда председателя Тайного совета.

Властители страны, по замечанию одного автора, «близко знали друг друга не только по Вестминстеру»<sup>55</sup>. Они учились вместе в одном из самых престижных колледжей – Крайст-Черче в Оксфорде или Тринити в Кембридже. В Крайст-Черче получили образование премьер-министры лорды Роузбери и Солсбери, в Тринити – их преемники мистер Бальфур и сэр Генри Кэмпбелл-Баннерман. Подлинным питомником государственных деятелей, однако, был Баллиоль в Оксфорде, где заслуженный ректор Бенджамин Джоуэтт весь свой недюжинный талант направлял на то, чтобы выпускники, «используя социальный статус, заняли достойное место на государственной службе»<sup>56</sup>. Наиболее подходящей «средой обитания» для отпрысков из богатых землевладельческих семей считался колледж Крайст-Черч, называвшийся обыкновенно «Хаусом». Когда в нем учились люди, правившие страной в девяностые годы, его деканом был Лидделл, человек исключительно приятной внешности, эlegantный, представительный и имевший дочь Алису, которую обожал безызвестный лектор-математик по имени Чарльз Доджсон. Излюбленными занятиями обитателей «Хауса» были охота на лис, бега, крикет и «нескончаемые обеды в компании лучших парней в мире»<sup>57</sup>.

Когда эти «парни» в старости писали мемуары, они, упоминая Чарльзов, Артуров, Уильямов и Фрэнсисов студенческих лет, указывали в сносках: «впоследствии начальник имперского генштаба», «впоследствии епископ Саутгемптона», «впоследствии спикер палаты или посланник в Афинах». За годы близкого знакомства они хорошо узнали сильные и слабые стороны друг друга и могли в случае необходимости попросить о небольшом одолжении. Когда 23-летний Уинстон Черчилль пожелал участвовать в 1898 году в суданской экспедиции, несмотря на возражения главнокомандующего сэра Герберта Китченера, он добился своей цели без особого труда. Дед Черчилля 7-й герцог Мальборо служил вместе с лордом Солсбери в правительстве Дизраэли, и лорд Солсбери уже сам в роли премьер-министра доброжелательно выслушал просьбу молодого человека и пообещал помочь. Когда потребовалось ускорить процесс принятия решения, Уинстон переговорил с личным секретарем, сэром Шомбергом Макдоннеллом, «с которым я встречался в обществе с малолетства». Уинстон застал его, когда тот одевался, готовясь уехать на званый обед, и объяснил неотложность дела. «Я займусь этим незамедлительно», – сказал галантный секретарь, отменив поездку на важное мероприятие. И в таком ключе решались многие проблемы.

Воспитание они получали одинаковое, но главным его назначением было не научное познание или развитие научного мышления, а оттачивание чувства собственного достоинства, наделявшего человека правом на статус английского джентльмена и непоколебимой верой в то, что этот статус является наивысшим благом. Его обладателю следовало никогда не забывать о своей исключительности. В каждой комнате Итона висела знаменитая картина леди Батлер, изображавшая катастрофу при Маджуба-Хилл, на которой офицер, подняв саблю, шел в атаку с криком “*Floreat Etona!*”<sup>58</sup> Этот возглас некоторые могли расценить как свидетельство приоритетности отваги, а не стратегии в британской военной кампании. Все же для истинного итонца важнее всего было «впитывать дух естественного превосходства и внушать себе осознание непререкаемого первенства»<sup>58</sup>. Вооруженные этими принципами, джентльмены гордились своим миром избранных и с жалостью относились к тем, кто к нему не принадлежал. Когда сэру Чарльзу Теннанту и его партнеру, игравшим в гольф, помешал чужак, положив свой мяч в метку, сэр Чарльз спокойно сказал разгневанному напарнику: «Не сердитесь на него. Скорее всего, он не джентльмен, бедняга»<sup>59</sup>.

---

<sup>5</sup> «Живи и процветай, Итон!»

Этому магическому образу завидовала и пыталась его имитировать континентальная аристократия (за исключением, может быть, русских дворян, которые любили говорить по-французски и никому не подражали). Немцы женились на англичанках и носили твид и пальто-реглан, а во Франции вся жизнь *haut monde*<sup>6</sup> проходила вокруг «Жокейского клуба», завсегда-таки которого играли в поло, пили виски, а портреты знати в красных охотничьих камзолах писал Поль Сезар Эллэ, французский Сарджент.

Неслучайно аристократов изображали в облике всадников. Лошадь была неотъемлемым атрибутом английского джентльмена. С тех пор как человек оседлал коня, приобретя особую статью, скорость передвижения (и силу удара после изобретения стремян), лошадь отделяла властелина от подвластного ему смерда. Всадник стал символом владычества, и нигде в мире столь свято, как в Англии, лошадь не считалась обязательной принадлежностью класса аристократов. Буцефал удостоверял их избранность и могущество. Когда одному литератору потребовалось описать менталитет дворянства, он прибег к наезднической терминологии: в их представлении общество состояло из «узкого круга аристократов, рожденных в сапогах со шпорами, чтобы ездить, и огромной темной массы престоляродья, оседланного и взнузданного, чтобы возить»<sup>60</sup>.

В 1895 году лошадь все еще оставалась не только повсеместным, неотъемлемым, но и даже более ценным аксессуаром жизнедеятельности высшего общества. Она обеспечивала передвижение, занятия, давала пищу для душевных бесед, воспламеняла любовь и отвагу, вдохновляла поэтов, помогала поддерживать и укреплять физические и духовные силы. Без нее не существовало бы ни скачек, спорта королей, ни кавалерии, элитных войск любой армии. Один английский патриций с ностальгией вспоминал о своей юности как о времени, когда «я смотрел на жизнь из седла и чувствовал себя на седьмом небе»<sup>61</sup>.

Посетить в воскресенье галерею «Татгерсоллз» и посмотреть лошадей накануне аукциона в понедельник считалось не менее модным, чем сходить в оперу. Для аристократов было зазорно ездить на скачки в Ньюмаркет, они либо уже владели там домами, либо снимали особняки и жили в них в продолжение всего праздничного мероприятия. Скачками руководили три стюарда из «Жокейского клуба», и никто не имел права оспорить их решения. Три министра в правительстве лорда Солсбери – мистер Генри Чаплин, граф Кадоган и герцог Девонширский побывали в роли стюардов «Жокейского клуба». Надо было обладать немалым состоянием для того, чтобы иметь конюшню и разводить скаковых лошадей. Когда лорд Роузбери, женившийся на дочери Ротшильда, выиграл дерби будучи в 1894 году премьер-министром, он получил поздравительную телеграмму из Америки от Чонси Детью: «Верх блаженства!»<sup>62</sup> Господин Детью недооценил потенциал лорда Роузбери: он выиграл дерби дважды – в 1895 и 1905 годах. В 1896 году на скачках пришел первым длинноногий гнедой принца Уэльского Персиммон, выращенный в его собственных конюшнях, в 1900 году победил Даймонд Джу-били, брат Персиммона, в третий раз принц Уэльский выиграл дерби в 1909 году уже будучи королем, выпустив на дорожку Майнору. Победа на скачках действующего монарха вошла в историю Эпсому как величайшее событие. Когда королевские пурпур, алый и золотистый цвета появились первыми на Таттенемском повороте, толпа взревела; когда Майнору мчался вровень с соперником к финишу вдоль ограды, болельщики неистово кричали и плакали от радости, когда лошадь короля на целую голову обошла конкурента. Они прорывались через канаты, хлопали короля по спине, пожимали руки, и «даже полицейские, размахивая шлемами, орала до хрипоты»<sup>63</sup>.

Завоевать известность можно было, следуя и примеру лорда Лондесборо, президента клуба «Фор-ин-хэнд», прозванного «франтом» за элегантность и изысканность одеяний,

<sup>6</sup> Высшего света (*фр.*).

щегольские выезды и кичившегося своими «великолепными, быстроногими и стильными» росинантами<sup>64</sup>. Ездая на лошади не была лишь предметом гордости владельца, она служила главным транспортным средством, превращаясь иногда в тирана. Когда племянница Чарльза Дарвина в 1900 году приехала проводить лорда Робертса, отправлявшегося в Южную Африку, она увидела корабль, отплывавший без лорда Робертса по причине того, что «карету пришлось вернуть домой, ибо лошади устали»<sup>65</sup>. Когда ее тетя Сара, миссис Уильям Дарвин, уезжала в Кембридж за покупками, она обычно шла позади кареты даже на небольших подъемах, а если цель ее путешествия находилась на расстоянии более десяти миль, то карета и лошади оставались дома и она нанимала экипаж.

Подлинное удовольствие от верховой езды всадник получал во время охоты с гончими. Уилфрид Скоуэн Блант ощущал в себе «Бога, оседлавшего крылатого коня», когда галопом мчался по склонам холмов за сворой гончих<sup>66</sup>. Охота на лис была особенно волнующей, обострявшей томительное предвкушение опасности и удачи: возбужденный лай собак, стенания охотничьих рогов, стремительная лавина красных камзолов джентльменов и черных одеяний дам, перелеты через бугры, загороди, канавы и каменные стенки, переломы, растяжения и даже обмороженные носы, щеки и пальцы зимой. Жить и осознавать себя частью привилегированного и праздного класса было благостно, охота же пробуждала чувства радости и восторга. Приверженцы этого досуга выезжали полевать с гончими пять и даже шесть раз в неделю. О мистере Ноксе, священнике герцога Ратленда, говорили, будто на нем под сутаной всегда были сапоги со шпорами и он «думал о лошадях» даже тогда, когда читал проповедь<sup>67</sup>. В семье герцога по темпу утренней молитвы определяли, уезжает мистер Нокс сегодня на охоту или нет.

Мистер Генри Чаплин, самый известный «сквайр» в кабинете лорда Солсбери и архетип английского сельского помещика, в равной мере ответственно исполнял обязанности и парламентского представителя интересов сельского хозяйства, и председателя охотничьего общества «Бланкни хаундз». Во время дебатов или заседаний кабинета он рисовал лошадей на официальных бумагах. Когда ему приходилось в роли министра отвечать на вопросы, специальный поезд ожидал его, чтобы наутро к назначенному времени отвезти на охоту. Состав останавливался где-нибудь между станциями, и мистер Чаплин выходил в алом камзоле и белых бриджах, взбирался по насыпи, где его встречал конюх с лошадьми. Он весил 250 фунтов, с трудом находил подходящую животину и нередко «за один день мог загонять до упаду несколько коней». «Дух захватывало, когда он штурмовал ограду на одном из таких тяжеловесов». Рассказывали такой случай. Охотникам надо было перебраться на другое поле, но путь преграждала огромная и густая живая изгородь с единственным просветом, в котором росло деревце, обнесенное железной клеткой высотой 4 фута 6 дюймов. «Требовался топор или хороший нож. Но тут появился могучий сквайр, мчавшийся со скоростью сорок миль в час и в свой монокль видевший только просвет в изгороди. Ничто не могло остановить его; он проскочил со своей лошадью через прогалину, даже не заметив ни дерева, ни клетки»<sup>68</sup>.

Немалых денег стоило исполнение обязанностей председателя охотничьего общества, содержание собственной конюшни и своры гончих. Вдобавок ко всему, мистер Чаплин содержал две своры гончих, одновременно устраивал две охоты, разводил скаковых лошадей, имел оленьи охотничьи угодья в Шотландии и очень дорогого друга принца Уэльского. В результате он разорился и потерял семейные усадьбы. Во время своей последней охоты в 1911 году, когда ему уже перевалило за семьдесят, его сбросила лошадь, но когда его везли домой с двумя сломанными ребрами и пробитым легким, он попросил остановиться в ближайшей деревне и отправил телеграмму «кнуту» консерваторов в палате общин о том, что его не будет на вечернем голосовании.

Джордж Уиндем, главный секретарь по делам Ирландии в 1902 году, тоже разрывался между охотой и служебными обязанностями. Правда, в отличие от мистера Чаплина, к его чув-

ству долга примешивались амбиции: он намеревался стать премьер-министром. Кроме того, он писал стихи, тянулся к искусствам и литературе, и ему всю жизнь приходилось делать трудный выбор. Приятель-охотник советовал «не растрчивать жизненные силы на политику и доказать Генри Чаплину, кто наилучшим образом способен реализовать свои возможности». Трудно было не согласиться с ним. Конечно, для джентльменов предпочтительнее собраться всем вместе за завтраком в красных камзолах и с повязанными вокруг шеи фартуками, чтобы ненароком не запачкать белоснежные бриджи, или встретить Рождество за праздничным столом, накрытым для тридцати девяти персон, тридцать из которых все еще в состоянии охотиться на следующий день. «Сегодня мы снова в поле, – описывал свои ощущения Уиндем. – Трое из нас вырвались вперед (на пять корпусов от ближайших наездников). Остальные безнадежно отстали. Мы распластались по всему полю. Аллюр бешеный. Мы палили, не переставая. Гончие заливались восторженным лаем. Никто не смог обогнать нас. Какие моменты... какое наслаждение. Нет ничего более упоительного, чем охота».

Помимо охоты на лис, другим древнейшим занятием для английского конного джентльмена была война. Офицеры-кавалеристы были армейской элитой и выделялись не столько умом или воображением, сколько своим статусом. Они «отличались самоуверенностью»<sup>69</sup>, писал один бывший кавалерист, в той «наивысшей степени, какая была присуща молодым людям того времени, гордившимся своим классом и страной». В первый же год службы в полку муштра и рутинные падения вниз головой с лошади приучали их пребывать «в состоянии онемения и помраченности сознания, необходимого кавалеристам». Поло, зародившееся в полках, расквартированных в Индии, было их страстью, а кавалерийская атака – квинтэссенцией и верхом совершенства тактики и стратегии. Из их рядов выдвигались военачальники, и они верили в превосходство кавалерийского натиска так же непоколебимо, как в непогрешимость англиканской церкви. Классическим кавалерийским офицером был ладный красавец, близкий друг принца Уэльского, «блиставший и при дворе, и в клубах, и на скачках, и на охоте... и всегда вызывавший особое восхищение и обожание в лондонском обществе», полковник Брабазон из 10-го гусарского полка<sup>70</sup>. Рослый, шесть футов, сероглазый, хорошо сложенный гусар-полковник обладал волевым подбородком, закрученными вверх усами, которым позавидовал бы сам кайзер, и аналогичными идеями. Докладывая в 1902 году комитету по имперской обороне об уроках Англо-бурской войны, во время которой он командовал конницей, генерал Брабазон (теперь уже в этом звании) «взволновал присутствующих ярким описанием рукопашных схваток и теориями, доказывавшими эффективность применения кавалерии в военных действиях». Как сообщал затем королю лорд Эшер, особый интерес вызвали замечания генерала по поводу «недоверия к оружию, которым обеспечивается кавалерия, и действительности шоковых налетов конницы, вооруженной томагавками». Приводя свои доводы в «манере, присущей этому галантному офицеру... он столь наглядно изобразил кавалерийскую атаку, что она в воображении членов комитета показалась им абсолютно парализующей противника». Затем они выслушали полковника Дугласа Хейга, впоследствии штабного кавалерийского офицера в Южно-Африканской войне, осудившего предложение отказаться от использования копий и утверждавшего, что самое эффективное средство на поле боя – *arme blanche*<sup>7</sup>, то есть кавалерийская сабля, пашка.

У себя дома, в имении, главной достопримечательности всей округи, где его «хаус» казался очень большим, а деревня маленькой, в окружении крестьян, арендаторов, коров и овец, на земле, которой его семья поколениями владела, возделывая, сдавая в аренду и получая гарантированный доход, английский патриций вел привычный и привольный образ жизни, нисколько не сомневаясь в его естественной преопределенности. Здесь он обитал с детства

<sup>7</sup> Холодное оружие (*фр.*).

в полном единении с природой среди деревьев, над которыми синело небо или сгущались облака, слушал по утрам пение птиц и прогуливался в лесу, где всегда можно было повстречать оленя. «Мы ни в чем не нуждались, когда росли», – писала леди Франс Бальфур. Величественные дворцы – Бленхейм герцогов Мальборо, Чатсуорт – герцогов Девонширских, Уилтон – графов Пембрук, Уорик – графов Уорик, Ноул – семейства Саквиллов, Хатфилд – Солсбери – имели по триста – четыреста комнат, до сотни каминов и крыши, измерявшиеся акрами. Другие чертоги были, возможно, менее грандиозные, но в них семьи жили с более давних времен: например, усадьба Ренишоу принадлежала Ситуэллам по крайней мере семь столетий. Владельцы и больших и малых поместий непрерывно их усовершенствовали, перестраивали особняки, преобразовывали ландшафты. Они срезали или, наоборот, наращивали холмы, рыли пруды и озера, изменяли русла речек и ручьев, прорубали в лесах аллеи, завершая их беседками и павильонами для создания перспективы.

Их владения приумножались. Усадьба, сельский особняк, дом в городе, охотничий домик на севере графства, другой – в Шотландии, возможно, и замок в Ирландии – иметь все это было в порядке вещей. Помимо Хатфилда и особняка в Лондоне на Арлингтон-стрит, лорд Солсбери владел Уолмерским замком в Диле, помещичьим домом Кранборн в Дорсетшире, виллой во Франции, а если бы увлекался охотой и скачками, то непременно обладал бы обитаемым в Шотландии и/или конюшнями возле Эпсому или Ньюмаркета. В Великобритании насчитывалось 115 индивидуумов, каждый из которых имел более 50 000 акров земли, а сорок пять человек в этой блистательной компании владели угодьями по 100 000 акров, хотя земли чаще всего располагались в Шотландии, где доходы были невелики. Шестьдесят или шестьдесят пять человек, все пары, имели и более 50 000 акров земли, и более 50 000 фунтов стерлингов дохода, а пятнадцать патрициев – семеро герцогов, три маркиза, три графа, один барон и один баронет – получали земельный доход, превышавший 100 000 фунтов стерлингов. В Великобритании с населением 44 500 000 человек на 2500 землевладельцев приходилось по 3000 акров земли и по 3000 фунтов земельного дохода<sup>71</sup>.

Налог не взимался с доходов менее 160 фунтов, и к этой категории населения относились примерно восемнадцать – двадцать миллионов человек. Из этого числа около трех миллионов были «белые воротнички» и представители профессий, имевших какое-либо отношение к сфере услуг: клерки, продавцы, торговцы, содержатели гостиниц и постоялых дворов, фермеры, учителя, зарабатывавшие в среднем 75 фунтов стерлингов в год. Из пятнадцати с половиной миллионов человек состояла «армия» работников физического труда, в том числе солдат, моряков, полицейских, почтальонов, батраков и домашних слуг: им платили менее 50 фунтов в год. «Черта бедности»<sup>72</sup>, таким образом, измерялась 55 фунтами годового дохода семьи из пяти человек или 21 шиллингом 8 пенсами в неделю. Домашняя челядь спала на чердаках или в подвалах. Батраки снимали жилье за один шиллинг в неделю и с пяти утра, пробуждаясь по сигналу горна, и до наступления темноты трудились в поле – с косой, серпом или за плугом. Они полностью зависели от милости лендлорда, особенно когда требовался ремонт хижин, прогнивших от воды, затекавшей в дождь, и если милосердие хозяина истощалось, нужда заставляла их уходить в работные дома и там доживать последние дни. Семьи обслуги поместья – конюхов, садовников, кузнецов, скотоводов и егерей, – жившие из поколения в поколение на землях хозяина, работали на него «охотно и преданно... и гордились принадлежностью к знатному роду».

В августе открывалась охота на куропаток, и с этого времени до первой сессии парламента в январе лендлорды устраивали друг для друга домашние приемы, продолжавшиеся целую неделю, накрывая столы для двадцати и пятидесяти гостей. Каждый гость приезжал со слугой, и хозяину приходилось потчевать до ста человек, а однажды в Чатсуорте у герцога гостевали сразу четыреста персон. Самым излюбленным занятием была безостановочная пальба на меткость и выдержку из трех-четырёх ружей, подававшихся заряжающим, по дичи, вспугну-

той ордой загонщиков. Все тропы, ведущие из графства в графство и в Шотландию, были усеяны трупами птиц и зайцев. Поместное дворянство постоянно передвигалось: упражнения в стрельбе с принцем в Сандрингеме; охота (в сине-желтых, а не красных камзолах) с герцогом Бофортом в Уилтшире; погоня за оленями в непроходимых лесах, среди озер и скал Шотландии («Пригнитесь, сквайр, пригнитесь, – шепотом говорил «гилли»<sup>8</sup> мистериу Чаплину, подкрадывавшемуся к могучему самцу-оленью. – Вам лучше оставаться на корточках, а то, боюсь, олень увидит вас»); рождественские и юбилейные пиршества и периодические тайм-ауты в Хомбурге или Мариенбаде, чтобы очистить организм для новых раундов.

Утром джентльмены уже на охоте. Дамы спускались на завтрак в шляпках, а к послеобеденному чаю в изысканных и томных чайных платьях из атласа *eau de Nil*<sup>9</sup> с отделкой из *mousseline de soie*<sup>10</sup>, золотыми блестками и соболиным обрамлением по швам и вокруг шеи<sup>73</sup>. К ужинам они приходили в торжественных вечерних платьях. Весь день по комнатам молча кружились рафинированные слуги, приносили чай, газету «Таймс», воду для ванн, уголь для каминов, ставили свежие букеты цветов в вазы, ударяли в гонг, призывая откусать, шепотом предупреждали – «его милость в библиотеке» и ждали того времени, когда надо помочь ее светлости освободиться от корсета перед сном.

На карточке, вставленной в бронзовую рамку на двери каждой спальни, указывалось имя обосновавшегося в ней гостя, аналогичная карточка имела в буфетной у дворецкого. Учитывалось и то, что в отведенных комнатах могли располагаться и лица, вовлеченные в уже всем известную, но не признававшуюся ими любовную связь. Пока партнеры в совершении супружеской неверности не становились объектом публичного скандала в результате спонтанного поведения возмущенной жены или рогоносца-мужа, они могли поступать так, как им заблагорассудится сколь угодно долго. Крайне важно было лишь не допустить того, чтобы о прелюбодеянии узнали низшие сословия. В этом отношении действовал строгий кодекс правил. В правящем классе предательство собрата по социальной исключительности считалось непростительным грехом. Не одобрялись ни обращения в бракоразводный суд, ни оглашение сомнительных деяний. Если все-таки оскорбленный супруг не пожелает смириться и пригрозит принять меры, то все главные арбитры общества, включая в случае необходимости и самого принца Уэльского, попытаются его переубедить. Они напомнят ему: не надо пятнать репутацию класса перед простонародьем, его долг – блюсти благопристойность, пусть даже внешнюю. Он повинуется и, как свидетельствует пример одной супружеской пары, может не разговаривать с женой дома двадцать лет, обращаясь с ней обходительно и любезно в обществе.

В мире роскоши и неумеренного расточительства потакание своим слабостям было естественной и общепринятой нормой поведения. Типичными представителями класса аристократов, чьи странности принимали самые экстремальные формы, были полуночник герцог Портлендский и злобные автократы сэр Джордж Ситуэлл и сэр Уильям Иден. Для большинства же дворян было проще и легче жить в согласии с обстоятельствами, позволявшими сохранять благосостояние и бесперебойно получать от жизни удовольствия, доставляемые богатством и социальным статусом.

Гораздо чаще проявлялись обыкновенная барственность и высокомерие. Когда полковник Брабазон, с трудом произносивший букву «р», приехал на железнодорожную станцию с опозданием и узнал, что поезд в Лондон уже ушел, он повелел начальнику вокзала: «Отправьте д-вугой»<sup>74</sup>. Джентльмены, не желавшие томиться на холодном сельском полустанке или медленно добираться другими средствами, заказывали специальный поезд, тратя на это обычно 25 фунтов. Среди них было немало и таких, кто, подобно королеве Виктории, ни разу не видел

<sup>8</sup> Провожатый, как правило, кто-нибудь из местных парней.

<sup>9</sup> Цвет зеленой нильской воды (*фр.*).

<sup>10</sup> Шелковый муслин (*фр.*).

железнодорожного билета. Леди надевали только лишь эксклюзивные платья, сшитые специально для них Уэртом или Дусетом, относившимися к своей работе с таким же творческим пылом и любовью, с какой художники пишут портреты. Для того чтобы «отличаться от других дам», лондонская красотка Дейзи, княгиня Плесс, «украсила настоящими фиалками шлейф придворного платья», сшитого из кружев на голубом шифоне и усеянного золотыми блестками.

Взращенные на привилегиях, английские патриции демонстрировали и превосходство в здоровье. По крайней мере пятеро ведущих министров в правительстве лорда Солсбери были ростом более шести футов, намного выше среднего британца. Из девятнадцати членов кабинета все, кроме двух, перешагнули через семидесятилетний рубеж, семеро преодолели восьмидесятилетнюю планку, а двое отметили и девяностолетие – и это в те времена, когда ожидаемая средняя продолжительность жизни мужчины при рождении составляла сорок четыре года, а при достижении возраста двадцать один год – шестьдесят два года. Привилегированность вырабатывала в патрициях некое отличительное качество, которое леди Уорик смогла описать лишь такими словами: «У них есть особая стать!»

Отдаленные раскаты приближающейся грозы вызывали у аристократов смутные тревожные ожидания если не конца света, то конца их праздного и беззаботного существования. За портвейном после обеда джентльмены говорили о нарастании демократических настроений и угрозы социализма. Газетным карикатуристам понравилось изображать Джона Буля, с опаской посматривающего на быка по кличке «Труд». Для большинства законопослушных граждан наличие проблем вовсе не предвещало возможность смены существующего порядка, но более просвещенные умы забеспокоились. Молодой Артур Понсонби, видя каждый вечер на набережной от Вестминстера до моста Ватерлоо «жалкое сборище бездомных и опустившихся бедолаг, спящих на скамейках»<sup>75</sup>, порвал с придворными привычками отца и брата, став социалистом. Леди Уорик, борясь с душевными терзаниями, находила успокоение в «периодически возникавшей у нее тяге к филантропии», которой она занялась, испытывая «сильное желание помочь устроить все так, как надо, и глубокое убеждение в том, что сейчас все утроено не так, как надо». В 1895 году, прочитав статью редактора-социалиста газеты «Кларифон» Роберта Блатчфорда, осуждавшего грандиозный бал в Уорикском замке по случаю титулования ее супруга, она в гневе помчалась в Лондон, оставив гостей, посмотреть в лицо врагу. Леди попыталась объяснить ему, как торжества в Уорикском замке помогли дать работу людям в тяжелую зимнюю пору, когда очень трудно найти себе занятие. Мистер Блатчфорд, в свою очередь, объяснил очаровательной гостье характер производительного труда и азы социалистической теории. Она возвратилась в замок с грузом новых идей, направив затем всю свою энергию, деньги и влияние на их пропаганду и огорчая родных, близких и друзей.

Происшествие, случившееся с леди Уорик, – всего лишь эпизод, а не свидетельство формирования тенденции. Британия в 1895 году упивалась осознанием безмятежного превосходства, раздражавшего соседей. Состояние «славной изоляции» отражало как умонастроения, так и реальную политическую обстановку. Британия не задумывалась о потенциальных противниках, не нуждалась в союзниках и обходилась без друзей. Во времена, когда мир будоражили взрывы национальных энергий в других странах, такая блаженная беспечность неминуемо должна была уступить место иным эмоциям и чувствам. 20 июля, менее чем через месяц после вступления в должность членов правительства Солсбери, ему бросили вызов неожиданно и к великому удивлению англичан набравшие силу Соединенные Штаты Америки. Предлогом послужил застарелый спор из-за границы между Британской Гвианой и Венесуэлой. Обвинив британцев в территориальной экспансии и нарушении доктрины Монро, Венесуэла попросила Америку выступить в роли арбитра. Хотя сам американский президент Гровер Кливленд отличался здравомыслием, его соотечественниками овладела эйфория самоутверждения. И поскольку для раздувания шовинистических настроений<sup>76</sup>, как указывал Редьярд

Киплинг, Франция уже использовала Германию, а Британия – Россию, то «американскому публичному деятелю оставалось лишь топтать ногами Британию».

20 июля Ричард Олни, госсекретарь президента Кливленда, отправил ноту британцам, заявив, что пренебрежение доктриной Монро будет расценено как «недружественный акт по отношению к Соединенным Штатам», о которых он высказался в неприкрыто воинственном тоне, назвав их «хозяином положения, практически неуязвимом для любых пришельцев». Язык послания был совершенно не дипломатический, но Олни прибег к нему умышленно, ибо, как он объяснял, «Соединенные Штаты казались англичанам столь ничтожными и малозначительными», что «на них могли подействовать только слова, равноценные боксерским ударам». Но на лорда Солсбери, взявшего на себя и роль министра иностранных дел, они не подействовали. Для него отвечать на такие выпады было бы равнозначно вызову на дуэль собственного портняжки. Внешней политикой он занимался уже двадцать лет. Он вместе с Дизраэли присутствовал на Берлинском конгрессе в 1878 году и участвовал во всех хитросплетениях разрешения вековой Восточной проблемы. Его метод отличался от тактики лорда Пальмерстона, который, по словам принца Уэльского, «всегда знал, чего хочет, и решения принимал моментально»<sup>77</sup>. Внешнеполитические проблемы теперь не были столь прямолинейны и прозрачны, как во времена лорда Пальмерстона, и лорд Солсбери не стремился завоевывать популярность блестящими дипломатическими успехами. Победы в дипломатии, в его представлении, достигались «микроскопическими выигрышами»<sup>78</sup>, в одном случае здравым предложением или разумной уступкой, в другом – оказанием любезности или проявлением дальновидного упрямства, тактичностью, хладнокровием, терпением и выдержкой, которую не могут поколебать никакие нелепости, провокации и просчеты». Однако он считал бессмысленным применять тонкости дипломатической игры в отношении демократии Соединенных Штатов, подобно тому, как, по его мнению, было бы глупо предоставлять право голоса рабочему классу. Он просто-напросто четыре месяца не отвечал на ноту Олни.

Когда же лорд Солсбери 26 ноября, наконец, ответил американцам, он написал, что «проблема границы Венесуэлы не имеет никакого отношения к вопросам, поставленным президентом Монро», недвусмысленно отказавшись обсуждать «границы британских владений, принадлежащих английской короне с тех времен, когда еще не существовало Республики Венесуэлы». Он даже не соизволил подчиниться неукоснительному дипломатическому правилу сохранить возможность для продолжения переговоров. Такой наглой отповеди не мог снести даже учтивый Кливленд. В послании конгрессу 17 декабря он провозгласил: после того как комитет по расследованиям определил пограничную линию, любые попытки Великобритании перейти эту линию будут рассматриваться как «злонамеренные агрессивные действия», ущемляющие права и интересы Соединенных Штатов. Кливленд моментально стал национальным героем, страну охватила лихорадка ура-патриотизма. «Если надо, будем воевать», – заявила нью-йоркская газета «Сан». Слово «война» звучало столь же привычно, словно речь шла об экспедиции против ирокезов или пиратов.

Британия была в шоке, мнения разделились согласно партийной принадлежности. Либералов ужаснула надменность лорда Солсбери, тори возмутила дерзость американцев. «Ни один англичанин, преданный империи, – написал в газете «Таймс» журналист-тори и новеллист Морли Робертс<sup>79</sup>, – не может без отвращения относиться к доктрине Монро. Англичане, а не обитатели Соединенных Штатов, господствуют в обеих Америках. Ни одна собака в республике не откроет рта, чтобы гавкнуть, без нашего позволения». Негодование было искреннее, хотя и явно преувеличенное. Абсурдность повода для перебранки понимали по обе стороны Атлантики, тем не менее страсти распались, у горячих голов кровь закипала в жилах. Внутренняя агрессивность, питавшаяся силой и благосостоянием, вот-вот могла выплеснуться

наружу. Конфликт разгорался, и прекратить его становилось все труднее, если бы не вмешались отвлекающие обстоятельства.

Вряд ли можно было найти более полезного человека для того, чтобы отвлечь враждебность в отношениях между другими странами, чем главный смутьян эпохи германский кайзер Вильгельм II. Он никогда не упускал возможности обратить внимание и на себя, и на свою нацию, сыграть выдающуюся роль, принять соответствующую позу, попытаться изменить ход истории. Он страстно желал оказывать влияние, и ему это удавалось.

29 декабря 1895 года подлил масла в огонь застарелого конфликта между Трансваалем, республикой буров, и британской Капской колонией рейд Джеймсона. Номинально под британским сюзеренитетом, но фактически независимая, республика буров препятствовала экспансии Великобритании в Африке и угнетала уитлендеров. Ими считались и британцы, и другие иностранцы, привлеченные в Трансвааль блеском золота и осевшие здесь навсегда. Теперь «чужеземцев» стало больше, чем буров, но те притесняли их, лишая избирательных и других гражданских прав и вызывая недовольство. Полковник Джеймсон, воодушевленный устремлениями гения-империалиста Сесила Родса, с отрядом из шестисот всадников вторгся в Трансвааль, замыслив поднять восстание уитлендеров, свергнуть правительство буров и подчинить республику британцам. За три дня его всадники были окружены и взяты в плен, но миссия имела далеко идущие последствия, проявившиеся уже через четыре года.

Пока же он дал повод кайзеру еще раз напомнить о себе. Вильгельм телеграммой поздравил президента Англо-бурской республики Крюгера с успешным разгромом интервентов, не прибегая «к помощи дружественных держав». Трудно было не заметить в поздравлении ясный намек на то, что такая помощь по запросу может быть оказана в будущем. Естественно, внимание британцев, как взгляды зрителей на теннисном матче, сразу переключилось с Америки на Германию, а ненависть – с президента Кливленда, которому всегда меньше всего подходила роль пугала, на кайзера, исполнявшего эту роль со знанием дела. Телеграмма Крюгеру произвела эффект, которого, наверное, не ожидал и сам кайзер. Она открыла британцам глаза на подлинный источник угрозы их помыслам и интересам. С той поры политическим стратегам Великобритании изоляция казалась в большей мере злом, а не благом.

1895 год был насыщен шокирующими событиями, и одно из них, крайне неприятное, произошло за два месяца до прихода к власти консерваторов. Осуждение Оскара Уайльда по статье 11 поправки к уголовному законодательству за непристойное поведение в отношениях с лицами мужского пола погубило и карьеру талантливого литератора, и репутацию декадентства, ярким представителем и символом которого он был.

Об упадке морали заговорили во весь голос два года назад, после выхода в свет нашумевшей книги Макса Нордау «Вырождение». На шестистах страницах истеричного повествования он скрупулезно и повсюду отыскивает свидетельства морального разложения. Он находит их в реализме Золя, символизме Малларме, мистицизме Метерлинка, в музыке Вагнера, драмах Ибсена, картинах Мане, романах Толстого, философии Ницше, шерстяных одеяниях Йегера, в анархизме, социализме, дамских платьях, в безумии, суициде, психических заболеваниях, наркомании, танцах, сексуальной вольности – во всем, что лишает общество самоконтроля, самодисциплины, стыда и способствует «сползанию к распаду, поскольку оно теряет силы и способности решать великие задачи».

Как истинный декадент, Уайльд последовательно и сознательно подвергал себя саморазрушению. Эстета, сластолюбца и остряка какое-то время спасали от полного краха успехи. Искрометные высказывания завораживали друзей, а пьесы – публику. Но самомнение и чревоугодие превысили все разумные пределы, он располнел и обрюзг, у него появился обвислый второй подбородок, и все пороки, по выражению одного из друзей, «зримо отобразились на лице»<sup>80</sup>. Успехи уже не удовлетворяли его, пресыщение подталкивало к тому, чтобы вку-

сильные ощущения окончательного падения. «Я столкнулся с проблемой, – признавался с грустью Уайльд, – для разрешения которой не существовало известных средств»<sup>81</sup>. Он ускорил свой арест, обвинив в клевете маркиза Куинсберри. Судебный процесс потряс общество, заставил содрогнуться от детальных описаний порочных связей: сводничества, мужской проституции, любовных свиданий в гостиничных номерах со слугой, конюхом, лодочником с пляжа, шантажа. Никаких обвинений не было выдвинуто против лорда Альфреда Дугласа, сына маркиза Куинсберри, пригожего и обольстительного молодого человека, уличенного в непристойных сношениях, в том числе и с Уайльдом. Избежал судебных обвинений и лорд Артур Сомерсет, сын герцога Бофорта и приятель принца Уэльского, пойманный полицией в борделе гомосексуалистов во время рейда в 1889 году<sup>82</sup>. Ему разрешили уехать и вести привычный комфортный образ жизни на континенте, а принц уговорил лорда Солсбери позволить молодому человеку время от времени навещать родителей «без опасения подвергнуться аресту на основании ужасных обвинений».

Фрэнк Харрис, тогда редактор «Фортнайтли ревью», надеялся, что правящий класс проявит солидарность и защитит его друга Оскара. Он исходил из предположения, будто аристократия, умеющая отделять исключительных людей от простонародья, способна опекать не только лордов и миллионеров, но и «гениев». Редактор прискорбно ошибался. Уайльд совершил непростительное деяние, предал гласности свой порок. Интеллектуал-литератор, изобличенный в гнусном разврате, возмутил целомудренных филистеров и вызвал у британской общественности очередной прилив озабоченности моралью. Приговор был суровый, публика злорадствовала и злословила, общество, которое еще недавно восторгалось им, повернулось к нему спиной, кебы и мальчишки – разносчики газет обменивались оскорбительными шутками об «Оскаре», пресса его поносила, книги изымались из продаж, его имя вымарывалось из театральных афиш, рекламировавших «Как важно быть серьезным», его шедевр, исполнявшийся на сцене для просвещенной аудитории. Его падение, говорил джентльмен-социалист Г. М. Гайндман, было «самым печальным событием в литературном мире». После морального низложения Уайльда если не на континенте, то по крайней мере в Англии, рассеялось бледно-желтое марево декадентства *fin de siècle*<sup>11</sup>.

Ничто не могло так заострить проблему контрастов, престижа и респектабельности в среде литераторов, как назначение лордом Солсбери на исходе года поэта-лауреата. После кончины Теннисона в 1892 году этот пост оставался вакантным, поскольку ни мистер Гладстон, ни лорд Роузбери, относившиеся со всей серьезностью к литературному творчеству, не могли найти достойной кандидатуры. Суинборн «не годился абсолютно»<sup>83</sup> из-за дурных привычек (хотя мистер Гладстон и «восхищался его гениальностью»), Уильям Моррис был социалистом, Харди знали только по новеллам, а молодые поэтические дарования страдали всеми недугами «Желтой книги» и «Сиреневого десятилетия». Молодой англо-индеец Редьярд Киплинг в «Песнях казармы» (1892 год), безусловно, продемонстрировал зрелость таланта и имперские склонности, но в несколько грубоватом стиле, и ни он, ни У. Э. Хенли, ни Роберт Бриджес не удостоились почетного титула. Другие кандидаты были посредственностями, хотя дебют одного из них, сэра Льюиса Морриса, его современник назвал «самым непринужденным и остроумным творением, когда-либо издававшимся в Англии». Моррис, написавший словесную эффузию под названием «Эпическая поэма о Гадесе» и страстно желавший стать поэтом-лауреатом, посетовал Оскару Уайльду еще до скандала: «Против меня заговор молчания, настоящий заговор молчания. Что мне делать, Оскар?» «Присоединяйтесь к нему», – ответил Уайльд<sup>84</sup>.

<sup>11</sup> Конца столетия (*фр.*).

Полагая, видимо, что лауреатом, как и епископом, может быть кто угодно, лорд Солсбери, став премьер-министром, назначил на этот пост Альфреда Остина. Журналист консервативного толка, основатель и редактор журнала «Национальное обозрение», Остин также сочинял пламенные вирши на злобу дня, к примеру, посвятив оду Дизраэли в связи с его кончиной. Когда приятель указал на грамматические ошибки в поэмах, Остин невозмутимо ответил: «Я и не подумаю их исправлять. Они даны мне свыше»<sup>85</sup>. Он был маленького роста, всего пять футов, с круглым лицом, опрятными, седыми усами, регулярно писал статьи, разъясняющие внешнюю политику консерваторов, подписывая их псевдонимом «Дипломатикус», являлся с премьер-министром и частенько бывал в Хатфилде. Остин начинал свою карьеру корреспондентом на войне в 1870 году, брал интервью у Бисмарка в Версале, а через тридцать лет пришел к печальному выводу: Германия в войнах 1859–1870 годов, «без сомнения, прибегала к таким методам, которые не смогли бы позволить себе ни Альфред Великий, ни кто-либо из современных английских министров»<sup>86</sup>. Самым известным его сочинением была книга об английских садах, но за две недели до назначения лауреатом он прославился, опубликовав в «Таймс» балладу о подвиге Джеймсона:

Там в городе золота девы.  
Там матери и дети малые.  
Они молят о помощи. Где ж вы?  
Молодцы смелые, brave?  
И мы, оседлав коней,  
Мчимся во весь опор.  
На север, восток, скорей!  
Сотрясая саванн простор.

Об излишней веселости оды донесли королеве, и она потребовала разъяснений. Солсбери пришлось признать, что произведение нового лауреата ее величества «к сожалению, исполнено в соответствии со вкусами театральной галерки, которая с энтузиазмом распевает эти вирши»<sup>87</sup>. Солсбери так и не объяснил, почему он избрал именно Остина, сказав лишь однажды, что ему «так захотелось». Хотя выбор не имел никакого отношения к достижениям английской поэзии, он соответствовал британским традициям.

Англичанин, как отмечал один американец, искренне верит в то, что им управляют самым достойным и наилучшим образом в мире, и даже в оппозиции убежден: страну губят чиновники<sup>88</sup>. Больше всего он «гордится английской формой правительства» и «непоколебимо верит в личную порядочность государственных деятелей». История лауреата Остина вполне укладывалась в рамки этого комфортного мироощущения. В солнечный летний день юбилейного 1897 года он принимал гостей в парусиновом костюме и панаме, сидя в плетеном кресле на лужайке своего загородного дома и мило беседуя с леди Паджет и леди Уиндзор. Они договорились, что каждый изложит свое видение счастья. Идея Остина оказалась самой благородной. Он пожелал, находясь в саду, получать телеграммы о победах Британии и на море, и на суше<sup>89</sup>.

Легче всего было поднимать на смех Альфреда Остина, его малый рост, напыщенность и банальные стихи. Но в его незатейливом желании выражалась целая гамма простых чувств – преданность, обожание и любовь к своей стране, простодушное неприятие зла, отражавшие состояние души, которое, как и благородная внешность лорда Рибблсдейла, присуще далеко не каждому человеку.

Палата лордов, после того как либералов сменили консерваторы, могла расслабиться и вернуться к своему привычному и естественному образу жизнедеятельности, а именно – употреблять как можно меньше умственных усилий. В последние годы властвования либералов она смогла воодушевиться до такой степени, что ей удалось «остановить разложение», вызванное законотворчеством радикалов, отвергнуть билли об ответственности работодателей и приходских советах, придуманных для демократизации местных органов власти, а затем и билль о гомруле. В последнем своем выступлении 1 марта 1894 года Гладстон предупреждал о расхождении «фундаментальной значимости» между двумя палатами и призывал к поиску путей разрешения «грандиозных противоречий и непреходящего конфликта по принципиальным вопросам первостепенной важности». Когда правительство либералов было у руля, выдвигалось немало предложений о реформировании верхней палаты для сбалансирования властных полномочий и снижения остроты критики. Теперь, когда вновь установилась атмосфера гармонии и необходимость в чрезвычайных мерах отпала, все позабыли о предупреждениях Гладстона и лорды по обыкновению сибаритствовали.

Из 560 членов палаты многие «бэквуды», как называли пэров, редко появлявшихся на заседаниях, вообще не бывали на них, другие посещали сессии от случая к случаю, и только около пятидесяти лордов регулярно и добросовестно исполняли свои обязанности. Это было «самое благодушное собрание людей, какое только можно себе представить», говорил лорд Ньютон, внимательно слушавший оратора, которого в палате общин заставили бы замолчать через пять минут<sup>90</sup>. «Дебаты велись всегда в исключительно вежливых выражениях» и с такой невозмутимой сдержанностью, которая больше напоминала «отрешенность на грани безразличия». Партийная неприязнь скрывалась под маской «нарочитой учтивости». И для ораторов палата лордов была, пожалуй, самой неинтересной аудиторией. Лорд Роузбери, лидер либералов, жаловался, что на лицах его слушателей всегда было выражение «совершеннейшей усталости и скуки»<sup>91</sup>.

Когда лорд Солсбери возглавлял правительство, палата лордов была полностью в его власти, хотя ее официальным лидером считался лорд-канцлер, спикер. Эту должность занимал лорд Холсбери – выходец из нетитулованной знати по имени Хардинг Гиффард, представлявший одну из древнейших семей в Англии. Ее родоначальник сражался при Гастингсе и был произведен в графа Бакингема Вильгельмом Руфусом. Хотя в следующем поколении титул был утрачен, семья проявила жизнестойкость, добилась если не богатства, то многих заслуг, и 72-летний тогда весельчак лорд-канцлер дожил до девяноста восьми лет. Похожий на персонажа из Пиквикского клуба, коренастый, коротконогий, краснощекий, с пучками волос над ушами и смешливым выражением на лице, лорд Холсбери, несмотря на добродушие, был жестким оппонентом, несокрушимым и обладавшим феноменальной памятью. На нем всегда был фрак, шляпа дерби с квадратным верхом, «настоящий синий» галстук тори, и он, по словам одного молодого члена палаты лордов, «из принципа противился любым переменам в одеянии». Вследствие скромного достатка он получил домашнее образование, и обучал его всему отец, барристер и редактор ежедневной газеты тори «Стандард», заставлявший зубрить греческий язык, латынь и иврит до четырех часов утра и дороживший своей честью до такой степени, что отказался от предложения герцога Ньюкасла, восхищавшегося его газетой, устроить трех сыновей в Оксфорд. Все же младший сын сумел окончить Мертон-колледж и быстро поднялся на самую вершину юридической профессии, обрастая по пути богатствами и друзьями и обвинениями в склонности к «развеселому цинизму» и бессовестному использованию судейской скамьи в политических целях. Тем не менее когда среди многих претендентов именно его назначали лорд-канцлером, на пост, уступавший по значимости только королевской семье и архиепископу Кентерберийскому, «Карлтонский клуб» поддержал его, «все, до единого человека», а лорд Коулридж, главный судья и либерал, написал: «Ваши политические убеждения,

конечно, для меня малопонятны, но во всем остальном вы, как ученый, юрист и джентльмен, лучше всего подходите для того, чтобы быть нашим руководителем»<sup>92</sup>.

Двое высокопоставленных пэров в кабинете лорда Солсбери, 5-й маркиз Лансдаун и 8-й герцог Девонширский, в прошлом виги, были новообращенными консерваторами. Лорд Лансдаун, военный министр, имел классическую внешность аристократа, идеальную для выдвижения на высокий церемониальный пост, и в тридцать восемь лет уже был генерал-губернатором Канады, а в сорок три года – вице-королем Индии. Его древний род назывался Фицморисами. Родоначальник обосновался в ирландском графстве Керри еще в XII веке, и нынешний маркиз был 28-м лордом Керри по прямой мужской линии. Он был одним из тех англо-ирландцев, отмечала газета «Спектейтор», давая оценку кабинету лорда Солсбери, «от рождения одаренных инстинктом управления»<sup>93</sup>. Этим инстинктом обладал прадед, 1-й маркиз, с титулом графа Шелберн служивший государственным секретарем у Георга III и премьер-министром в первый год войны с американскими колониями. Такой же предрасположенностью к властвованию отличался дед, 3-й маркиз, занимавший пост министра внутренних дел и другие высокие должности в шести правительствах в 1827–1857 годах, отклонивший затем предложение стать премьер-министром и отказавшийся от титула герцога. Нынешний маркиз казался шурина лорду Эрнесту Гамильтону «самым первостатейным джентльменом эпохи»<sup>94</sup>, и на международном конкурсе джентльменов он, безусловно, представлял бы Великобританию.

Но второй из упомянутых нами пэров был еще знатнее и имел еще более импозантную аристократическую внешность. Спенсер Комптон Кавендиш, 8-й герцог Девонширский, наверно, был единственным человеком во всей Англии, который вследствие и самоуверенности и беспечности мог позволить себе забыть о намеченной встрече с союзером. Эдуард VII, информируя предварительно герцога о намерении отобедать с ним в Девоншир-хаусе в определенный день, прибыл к назначенному времени, смутив и ошеломив домочадцев, поскольку герцога не оказалось дома и его пришлось спешно изымать из клуба «Терф».

В 1895 году ему было шестьдесят два года. Он был высок и статен, его вытянутое габсбургское лицо украшали пушистая борода и античный прямой нос. Прежде он был лордом Хартингтоном и тридцать четыре года членом палаты общин, а теперь занимал пост лорда председателя Тайного совета в кабинете Солсбери. Герцог имел 186 000 акров земли и 180 000 фунтов стерлингов только земельного дохода, то есть без учета инвестиций. Несмотря на пресловутую апатию, он сменил столько государственных постов и кабинетов, сколько не было на счету ни у одного другого сановника. Он был первым лордом адмиралтейства при лорде Пальмерстоне, военным министром при лорде Джоне Расселе, генералом-почтмейстером, министром по делам Ирландии, министром по делам Индии и военным министром в правительствах Гладстона. Привычной деталью Уайтхолла давно стал проезжающий по улице фаэтон с лордом Хартингтоном, направлявшимся в палату общин: поводья опущены, во рту сигара и рядом колли.

Он сыграл ведущую роль в формировании оппозиции мистеру Гладстону во время двух кризисов восьмидесятых годов, расколовших либеральную партию: по поводу «империалистической» экспедиции генерала Гордона в Судан и гомруля для Ирландии. Хотя лорд и не относился к числу искусных и страстных ораторов, его речь в 1886 году, когда он фактически порвал с Гладстоном, произвела огромное впечатление. Заявив во всеулышание, что человек не должен поддерживать правительство, даже собственной партии, если не согласен с его политикой, он «вооружил сотни людей по всей стране, как сказал один из консерваторов, новым осознанием долга перед государством и новым способом практического действия»<sup>95</sup>. Генри Чаплин тогда заметил: «Вы должны стать премьер-министром». Несколькими годами раньше королева, желая освободиться от Гладстона, предложила лорду Хартингтону сформировать правительство. Он отказался в пользу Гладстона, зная, что тот привык быть на первых ролях.

Мистер Бальфур, эксперт в таких делах, считал, что лорд Хартингтон «лучше всех из известных мне государственных деятелей» воздействовал на людей не столько словами, сколько силой убеждения, которая в них заключалась. Только он мог «затронуть все аспекты проблемы, следуя железной логике, прийти к нужным выводам, не замалчивая аргументы ни одной из сторон»: «У нас не было более честного и объективного советчика». Именно благодаря этому качеству, которым Хартингтон обладал «в значительно большей мере, чем кто-либо еще», в нем нуждались правительства, и он доминировал на любом форуме, будь то заседание правительства, сессия парламента или собрание общественности.

Конечно, герцог предпочел бы заняться чем-нибудь другим, поскольку исполнял свои тяжелые служебные обязанности больше из чувства долга, а не по страстному желанию. Он ощущал себя одним из столпов государства. Королева не могла закончить послание к нему в 1892 году без того, чтобы не сказать герцогу о том, как она «полагается на его помощь в обеспечении безопасности и сохранении достоинства ее огромной империи». «Все должны подключиться к этой великой и важной миссии», – такими словами она выразила свою веру в него.

Однако герцог особым рвением не отличался. По словам одного приятеля, он «никогда не сердился, но частенько изнывал от скуки», по мнению другого – «слишком спокойно ко всему относился»<sup>96</sup>. Некоторые объясняли летаргию ленью, другие – намеренным нежеланием поспешать. В любом случае, ему было свойственно засыпать в самый неподходящий момент. Даже собственные речи его утомляли. Однажды, прокомментировав бюджет для Индии, он повернулся к соседу рядом на скамье и, зевнув, сказал: «Как все это чертовски скучно»<sup>97</sup>.

Единственным его настоящим увлечением было содержание конюшни скаковых лошадей и поддержание в течение тридцати лет в силу страсти, привычки или лени связи с «одной из самых очаровательных женщин Европы»<sup>98</sup>, властной и амбициозной уроженкой Германии Луизой, герцогиней Манчестер. Первый герцог разочаровал ее, обеднев, но, проявляя кастовую солидарность, не предпринимал никаких действий и позволял супруге и лорду Хартингтону наслаждаться обществом друг друга, сохраняя при этом внешнюю нравственную благопристойность. Когда Манчестер умер, вдова вышла замуж за герцога Девонширского в 1892 году, сразу же после его титулования. Затем «двукратная герцогиня», как ее называли, направила все свои усилия и таланты на то, чтобы сделать супруга премьер-министром.

Герцог не помогал ей в этом предприятии. Он не был тем человеком, в котором горячее стремление занять высокий пост убивает все другие желания. После того как он увел либерал-юнионистов из партии, лорд Солсбери дважды предлагал поработать под его началом, но герцог отказывался, не чувствуя еще себя готовым к коалиции. К 1895 году разрыв между умеренными и радикальными вигами углубился, голосование в унисон с тори вошло в привычку, и герцог вместе с четырьмя либерал-юнионистами перешел к консерваторам в лагерь лорда Солсбери.

Консервативное, а теперь и юнионистское правительство сменило либералов в июне 1895 года. Щекотливая ситуация возникла в Виндзоре, куда новоиспеченным консерваторам предстояло явиться на церемонию вступления в должность и пройти мимо своих бывших коллег по партии, сдававших полномочия. Понимая это, личный секретарь королевы организовал церемонию таким образом, чтобы либералы слагали с себя полномочия в 11.00, а новые министры ожидали в это время в другой гостиной. Все и должно было произойти без каких-либо недоразумений, если бы герцог, имевший привычку задерживаться, не опоздал на мероприятие, миновав «комнату ожидания» и встретив своих бывших соратников, которые не преминули осыпать его язвительными шутками. «На его лице не было даже намек на замешательство, – вспоминал очевидец. – Он шел, позевывая, с полужакрытыми глазами»<sup>99</sup>.

Предком Кавендишей был главный судья суда Королевской скамьи во время крестьянского восстания в 1381 году. Сын судьи Джон убил Уота Тайлера, за что Ричард II посвятил его в рыцари, хотя толпа изловила отца и обезглавила. Возможно, без особого энтузиазма, но исполнительно они столетиями помогали монархам править страной. 4-й герцог в 1756–1757 годах некоторое время возглавлял правительство, пока вздорили между собой Питт и Ньюкасл, и ушел в отставку, как только подыскал себе замену. Его брат лорд Джон Кавендиш дважды был канцлером казначейства, «исключительную честность и бескорыстность которого» отметил Эдмунд Бёрк, пожелав, правда, что лорду Джону все-таки следовало бы побольше внимания уделять делам и поменьше – охоте на лис.

5-го герцога прославила женитьба на восхитительной Джорджине, герцогине Девонширской, которую Гейнсборо изобразил на фоне грозовых облаков, а Рейнолдс – с ребенком на коленях. Она одарила супруга не только неотразимой красотой и очарованием, но и не менее дивными игорными долгами, измерявшимися 1 000 000 фунтов стерлингов. К счастью, Кавендиши входили в число трех самых богатых семейств королевства. Когда стюард с сожалением сообщил 5-му герцогу о том, что его сын и наследник лорд Хартингтон «готовится потратить огромную сумму денег», герцог ответил: «Чем больше, тем лучше. У лорда Хартингтона много денег».

И в 1895 году ни богатство, ни положение старшего сына, ни нежелание перенапрягаться, ни ипподром не истребили в герцоге «наследственную инстинктивную тягу к управлению делами государственной важности». Ему было присуще особенно «обостренное чувство долга перед государством»<sup>100</sup>. И это чувство долга перед государством, которое отмечали все, кто знал его, внушалось не столько наследственной состоятельностью семьи, сколько осознанием интеллектуального превосходства. Отец, знаток математики и античности, прозванный «ученым герцогом», дал ему домашнее образование. Позднее в Тринити-колледже Кембриджа, несмотря на светский, вольный и праздный образ жизни «тафтов», «золотых кисточек», как называли титулованных студентов, лорд Хартингтон сдал «трайпос», экзамен на степень бакалавра с отличием. Он стал членом палаты общин в возрасте двадцати четырех лет, а в тридцать лет получил первый правительственный пост. Политическая карьера его брата, лорда Фредерика Кавендиша, тоже начиналась успешно, но в 1882 году в первый день пребывания на посту главного секретаря по делам Ирландии на него напали и убили в парке Феникс в Дублине. Убийство министра английской короны ирландскими бузотерами произвело такую же сенсацию, как и гибель генерала Гордона в Хартуме. Вследствие убийства брата или по какой-то иной причине герцог приобрел привычку всегда иметь при себе заряженный револьвер, чем возбуждал беспокойство в семье. «Он всегда терял их и покупал новые, – писал племянник. – После его смерти в Девоншир-хаусе нашли не меньше двадцати штук»<sup>101</sup>.

С пришествием во дворец герцогини, неутомимой салонной труженицы, Девоншир-хаус стал самым притягательным для лондонского общества. Каждый год герцог и герцогиня устраивали пышный прием по случаю открытия парламентского сезона. Каждый год в «День Дерби», первый день скачек на ипподроме Эпсому, в Девоншир-хаусе, наполненный запахами роз и других цветов из сада герцога, съезжались толпы разодетых леди и джентльменов на грандиозный бал. Перед балом король давал обед для членов «Жокейского клуба» в Букингемском дворце, а королева приезжала отобедать с герцогиней. Костюмированный бал в Девоншир-хаусе в юбилейном 1897 году был самым знаменательным светским событием эпохи. Домашние приемы в Чатсуорте в Дербишире, семейном имении Кавендишей в продолжение четырех столетий, приобрели особую популярность, когда на них стали бывать принц и принцесса Уэльские, ставшие затем королем и королевой. Принимались во внимание и удовлетворялись все королевские привычки и прихоти, включая обязательное присутствие любовницы, осыпанной бриллиантами миссис Кеппел, с которой, по свидетельству княгини Дейзи Плесс, «король обыкновенно

играл в бридж в отдельной комнате, а в это время в других комнатах гости, конечно, тоже играли в бридж».

Построенный из местного золотистого камня, Чатсуорт был окружен живописным парком в стиле XVIII века, созданным по проекту ландшафтного архитектора Брауна, «Умельца», как его тогда окрестили. Главной его особенностью была слепящая глаза роскошь. Каскады воды струились по каменным ступеням длиной шестьсот футов – явное подражание итальянскому ренессансному ландшафту. Каждый лист медной ивы при помощи особого механизма истекал каплями воды. Стены были украшены гирляндами цветов и фруктов, искусно вырезанных из дерева. Библиотека и собрание картин и скульптур не уступали по богатству и уникальности коллекциям Медичи и имели почти общественно-благотворительное назначение. Кураторы, нанятые герцогом, допускали к ним ученых и специалистов, делали новые приобретения, предоставляли шедевры устроителям выставок. Мемлинг, например, совершил путешествие в Брюгге, а Ван Дейк – в Антверпен. Весь год дворец был открыт для публики, и народ блуждал по залам толпами. Герцогу нравилось наблюдать за зеваками, он, уверенный в том, что никто не знает его в лицо, обычно стоял молча в сторонке и смотрел на проходящих мимо людей, и его страшно удивило, когда «горничная, исполнявшая роль экскурсовода, и вся ее группа визитеров вдруг остановились и во все глаза начали его рассматривать». Скаковые лошади, конечно, интересовали герцога больше, чем книги, но однажды он поразил своего библиотекаря, показавшего ему первое издание «Потерянного рая»: герцог уселся и начал громко и с видимым удовольствием читать поэму. Вошла герцогиня и, ткнув в герцога зонтиком от солнца, сказала: «Если он дорвется до поэзии, то его не вытащишь на прогулку».

А вообще-то герцогу претила помпезность. Когда король решил наградить его новым орденом королевы Виктории, герцог «в своей обычной сонной манере» попросил личного секретаря монарха сэра Фредерика Понсонби объяснить, что ему надлежит делать с «этой штуковиной». «Я никогда не видел человека, столь безразличного к награде. Его больше беспокоило, казалось, то, что она внесет излишнюю и неудобную деталь в одеяние». Во время репетиции коронации короля Эдуарда в 1902 году<sup>102</sup>, на которой пэры в парадных серо-черных брюках и с коронами на голове выглядели особенно комично, герцог, как всегда появившийся с опозданием, бродил со скучающим видом, засунув правую руку в карман и раздражая граф-маршала. Он одевался всегда мешковато и прозаично, не баловал гостей своим вниманием, откровенно игнорировал тех, кто мог утомить его, и однажды, когда оратор в палате лордов с пафосом начал вспоминать об «одном из величайших моментов в жизни», повернулся к соседу и сказал довольно громко: «Величайший момент в моей жизни я испытал, когда мой поросенок получил первый приз на выставке в Скиптоне». Помимо «Терфа», герцог любил также бывать в клубе «Травеллерз», славившемся своей эксклюзивностью и атмосферой «сосредоточенной умиротворенности», в которой предпочтение отдавалось не разговорам, а чтению, раздумьям и дреме. К тягостным выступлениям перед аудиторией он готовил себя, используя очень простой психологический прием, которым герцог как-то поделился и с молодым Уинстоном Черчиллем на встрече фритредеров в Манчестере, где им пришлось обоим держать речь. «Уинстон, вы нервничаете? – спросил герцог и, получив утвердительный ответ, сказал<sup>103</sup>: – Когда-то я тоже тушевался. А теперь всякий раз, когда мне надо выступать, я внимательно осматриваю публику и, сев на свое место, говорю себе: “За всю свою жизнь я еще не видел столько тупиц”, и мне становится гораздо лучше».

Когда надо, он мог быть «душой компании... приятным собеседником»<sup>104</sup>, то есть при соответствующих внешних обстоятельствах. На званый обед в 1885 году лорд пришел усталый и голодный, проведя целый день на заседании комитета, и еще больше помрачнел и молчал в дурном настроении, когда вначале подали причудливые, но легкие французские блюда, а не что-нибудь посушественнее. Когда наконец принесли ростбиф, он воскликнул: «Ура, теперь

можно и поесть!», подключившись сразу же к застольной беседе. Писатель Уилфред Уорд, другой участник этого званого обеда, отмечал, что лорд Хартингтон в отличие от мистера Гладстона, сидевшего за тем же столом, «всегда умел ткнуть пальцем в недостатки, которые обычно пропадали в риторике мистера Гладстона». Спустя восемнадцать лет Уорд снова повстречался с герцогом в британском посольстве в Риме и напомнил о званом обеде. Герцог с чувством воскликнул: «Конечно, как не помнить. Это когда нам нечего было поесть». Уорд заключил: прошло почти двадцать лет, а неадекватность французской снеди все еще не забылась.

Наследовав титул в 1891 году, герцог, не в пример Солсбери, продолжал посещать палату общин и «по обыкновению сидел, позевывая от скуки, в первом ряду галереи пэров» даже во время жарких вечерних дебатов. Титул герцога добавил ему забот. Он теперь владел поместьями в Дербишире, Йоркшире, Ланкашире, Линкольншире, Камберленде, Суссексе, Миддлсексе и в Ирландии, и ему приходилось просматривать всю материально-финансовую отчетность и решать все проблемы с агентами по недвижимости. К тому же он был одновременно еще лордом-наместником Дербишира, канцлером Кембриджского университета, президентом Британской имперской лиги и патроном различных церковных приходов, в которых надо было делать назначения. К этому перечню следует добавить должности директора или председателя компаний, в которых у него имелись инвестиции: в их числе – две железные дороги, сталелитейный завод, водопроводы, морская строительная фирма. Хотя герцог и не полагался на свои познания в бизнесе, но «когда вникал в суть дела», то, по мнению одного из сотрудников, «никто лучше его не мог констатировать и опровергнуть ложную посылку и найти верное решение». Его умственные способности не отличались быстротой мышления, и если он не мог понять какую-то проблему сразу, то требовал растолковывать ее до тех пор, пока она не становилась для него предельно ясной. Герцог занимался делами прилежно, однако истинную радость, по-видимому, испытывал, посещая свою конюшню скаковых лошадей в Ньюмаркете. Однажды в Э-ле-Бене он встретил У. Смита, лидера консерваторов в палате общин, проговорил с ним о политике полчаса, а потом сказал: «Как приятно в таком месте уделить немножко времени работе». Возможно, на отдыхе его одолевала скука даже больше, чем при исполнении служебных обязанностей.

Консервативное правительство в 1895 году герцог облагодетельствовал не только своим родовым именем и титулом, но и бесценным ресурсом общественного доверия, приобретенного за сорок лет деятельности на благо страны. Его честное служение государству было вне сомнений. Свокорыстие ему было настолько чуждо, отмечал редактор «Спектейтор»<sup>105</sup>, что «никто и никогда даже не помышлял приписать ему недостойные мотивы или заподозрить в том, что он действует в своих интересах»: «Если бы даже кто-то и попытался сделать нечто подобное, то в стране такого злопыхателя просто-напросто объявили бы сумасшедшим». Если герцог выражал свою точку зрения по какой-то проблеме, то для многих людей она служила ориентиром. Он так и не стал премьер-министром и ни разу не выиграл дерби, но, как писала «Таймс», «был главным авторитетом в формировании политических убеждений соотечественников». А сам он не осознавал степень своего общественного влияния: «Не понимаю, почему я должен говорить людям, что им делать. Они будут поступать так, как считают нужным, и я поступаю так, как считаю нужным. Они не любят, чтобы кто-то вмешивался в их жизнь». И когда принц, который тоже полагался на мнение герцога о людях и проблемах, обращался к нему за деликатным советом, герцог жаловался: «Я не знаю, как это получается, но всякий раз, когда вскрывается обман в картежной игре, в судьи призывают меня». Он стал, можно сказать, хранителем национального самосознания. Респектабельная и слегка меланхоличная наружность герцога привлекала внимание на любом торжестве или церемонии. Он был поистине «достоянием нации», говорил лорд Роузбери.

Среди министров лорда Солсбери, занявших отведенные им места на передней правительственной скамье в палате общин в 1895 году, были и два баронета, 9-й и 6-й, сэр Майкл Хикс-Бич, канцлер казначейства и сэр Мэттью Уайт Ридли, министр внутренних дел. Министра финансов считали ультраконсерватором и ярким поборником англиканской церкви, он представлял землевладельческий класс и обладал столь зловредным характером, что его прозвали «Черным Майклом». Рассказывали, как однажды, прочитав замечания депутата-либерала по бюджету, министр сказал секретарю: «Пойдите и передайте ему, что он свинья»<sup>106</sup>. Рядом с ними сидели два сквайра – мистер Генри Чаплин и мистер Уолтер Лонг, представители помещичьего сословия, нетитулованного дворянства, «презиравшего пэров, но посчитавшего своим долгом отстаивать интересы графств на первых всеобщих выборах»<sup>107</sup>. Мистер Лонг, самый молодой член правительства, ему исполнился всего лишь сорок один год, отвечал за сельское хозяйство, и о нем потом говорили, будто «за всю жизнь он не сказал ничего такого, что могло бы запомниться». Он «любил подремать, сложив руки крест-накрест и закинув голову на спинку сиденья, и на общем сером фоне особенно выделялось его красное, как листва в октябре, лицо». В то же время старший по возрасту мистер Чаплин запомнился тем, что «энергично, неусыпно и бдительно оберегал империю от мошеннических проделок оппозиции»<sup>108</sup>.

Мистеру Чаплину было тогда пятьдесят четыре года. Этот статный господин с большой и красивой головой, длинным носом, выпирающим подбородком, бакенбардами и моноклем был человеком «известным, легко узнаваемым» и одним из самых популярных политиков своего времени: «Все его хорошо знали». Он зримо олицетворял образ английского сельского джентльмена. Мистер Чаплин возглавлял департамент местного самоуправления, который занимался беднотой, жильем, городским планированием, здравоохранением и муниципальными проблемами. Характер его деятельности лучше всего описал Уинстон Черчилль, которому этот пост предлагали в 1908 году: «Я отказался, не желая, чтобы меня заперли в кухне, пропахшей супом, с миссис Вебб». Чаплин же относился к обязанностям и главы департамента, и члена парламента с чрезвычайной серьезностью и ответственностью. Он считал себя, как и избиратели, заступником драгоценной Британии и репетировал свои речи за живыми изгородями, дабы эффективнее исполнять эту роль. В его жестах и громоподобных заявлениях с передней скамьи в парламенте, по мнению одного из очевидцев, выражалась не тщеславность, а «спокойная и неистребимая убежденность в превосходстве правящего класса»<sup>109</sup>. В своих речах он разрешал самые затруднительные проблемы, будь то тарифы или система образования, с такой же легкостью и бесстрашием, с каким преодолевал канавы на охоте, и даже предлагал использовать биметаллизм для исцеления экономических недугов. Однажды после двухчасовых заузных рассуждений он, нахмурившись, склонился к мистеру Бальфуру и спросил:

– Как я выступил, Артур?<sup>110</sup>

– Великолепно, Гарри, великолепно.

– Вы меня поняли, Артур?

– Ни одного слова, Гарри, ни одного слова.

Артур Бальфур, принадлежавший к роду Сесилов, племянник премьер-министра и его политический наследник, искусный полемист и кумир общества, был образцовым консерватором и партийным лидером в палате общин. В 1895 году ему было сорок семь лет, в 1902 году, когда дядя ушел в отставку, он стал премьер-министром. Рост более шести футов, голубые глаза, вьющиеся каштановые волосы, усы, рыхлое, невыразительное лицо – все это могло указывать на ранимость характера, если бы не неизменно спокойный, безмятежный, почти неподвижный взгляд. По его доброжелательно-бесстрастному лицу невозможно было понять, какие чувства испытывает этот человек и испытывает ли он их вообще.

Его редко видели сидящим прямо: он обычно принимал ленивую позу, откидываясь назад почти до горизонтального положения, словно пытаясь проверить, как писал парламентский корреспондент «Панча», «можно ли сидеть на лопатках»<sup>111</sup>. Он обладал всеми атрибутами привилегированности: приличным состоянием, голубой кровью, приятной наружностью, обаянием и «необычайно острым умом, какой нечасто обнаруживается в современной политике»<sup>112</sup>. Бальфур был философом на вполне достойном уровне, и его второй труд «Основания веры» американский мыслитель Уильям Джеймс прочел с «огромным интересом»<sup>113</sup>. В этой книге, писал он брату Генри, «больше истинной философии, чем в пятидесяти немецких трактатах, напичканных подзаголовками и мудреными терминами».

По обыкновению отрешенный и бесстрастный, мистер Бальфур тем не менее притягивал к себе людей. Сила его обаяния проявлялась хотя бы в том, что у любого человека, поговорившего с ним, оставалось о самом себе самое благоприятное впечатление. «Хотя он и отличался словоохотливостью, – отмечал Джон Бакан, – все же никогда не главенствовал в беседе, а, напротив, поддерживая оживленный разговор, позволял и другим показать себя с самой лучшей стороны». Проведя вечер в его обществе, писал Остен Чемберлен, «все уходило с чувством глубокого удовлетворения своим красноречием и поведением». Он умел обаять даже политических оппонентов. Он был единственным консерватором, кого Гладстон во время дебатов называл «моим достопочтенным другом», удостаивая этим уважительным эпитетом обычно лишь соратников. Женщины тоже не могли устоять перед его чарами. «Боже мой»<sup>114</sup>, – с придыханием говорила леди Констанс Баттерси, побывав у него дома в 1895 году, – «какая же пропасть между ним и большинством других мужчин!» Марго Асквит понравились «утонченное обхождение» и «неотразимо очаровательный наклон головы»<sup>115</sup> во время душевного разговора с ней, а когда она еще была Марго Теннант и салонной звездой первой величины, то, по словам леди Джебб, могла «свернуть горы» ради того, чтобы выйти за него замуж. Когда же Бальфура спросили о возможности такого брака, он ответил: «Нет, это исключено. Я предпочитаю сам добиваться всего»<sup>116</sup>.

Старший сын леди Бланш Бальфур, сестры лорда Солсбери, был назван Артуром в честь герцога Веллингтона, выступившего в роли крестного отца. По мужской линии Бальфуры имели древнюю шотландскую родословную и своим немалым состоянием были обязаны прадеду Джеймсу Бальфуру, набобу Ост-Индской компании, нажившему его в конце XVIII века. Джеймс заимел в Шотландии поместье площадью 10 000 акров в Уиттинхеме у залива Фертоф-Форт, лес с оленями, речку с лососями, охотничий домик, получил место в парламенте и в жены дочь 8-го графа Лодердейла. Дочь от этого брака, тетя Бальфура, вышла замуж за герцога Графтона, так что Бальфур с учетом связей Солсбери, как говорил его друг, «мог называть своими родственниками половину дворян Англии». Его младший брат Юстас женился на леди Франс Кемпбелл, дочери герцога Аргайла, внучке герцога Сатерленд, племяннице герцога Вестминстерского, приходившейся золовкой принцессе Луизе, дочери королевы Виктории.

Отец Бальфура, тоже член парламента, умер в возрасте тридцати пяти лет, когда Артуру было семь лет, оставив на попечении леди Бланш, которая особенно отличалась религиозностью, свойственной всем Сесидам, пятерых сыновей и трех дочерей. Приучая Артура восхищаться Джейн Остин и «Графом Монте-Кристо», любимым чтивом брата, она воспитала в нем и чувство долга, тоже присущее всем Сесидам. Когда сын в Кембридже увлекся философией и пожелал передать брату наследственные права, а самому заняться наукой, мать пожурила его за слабование и стремление увильнуть от ответственности.

В Тринити-колледже Бальфур постигал науку о нравственности, этику. Он не смог получить степень бакалавра 1-го класса, но это никак не отразилось на его доброжелательной натуре и безмятежности душевного состояния. Он был дуайеном кембриджского общества, писала леди Джебб, «настоящим принцем в собственном исполнении и почти столь же избалован-

ным». Фрэнк, один из его четырех братьев, был профессором эмбриологии и, согласно Дарвину, мог занять первое место среди английских биологов, если бы не погиб в Швейцарских Альпах в возрасте тридцати одного года<sup>117</sup>. «Писаного красавца» Джеральда леди Джебб считала «превосходнейшим человеком», хотя ее племяннице он показался «слишком самодовольным». Юстас ничем не выделялся среди других посредственностей, а Сесил оказался «паршивой овцой в стаде» и, обесчещенный, умер в Австралии. Артур, по мнению леди Джебб, был «самым умным в семье, в которой все были неглупые... и почти все его обожали». Правда, леди Джебб отмечала в нем «эмоциональную холодность», и его единственное увлечение Мей Литтелтон, сестрой кембриджского приятеля и племянницей Гладстона, умершей, когда ей было двадцать пять лет, а ему – двадцать семь, «истощило все силы, имевшиеся у него в этом направлении». Этим обстоятельством, в частности, объяснялась холостяцкая жизнь Бальфура. Однако причиной тому скорее всего была не эмоциональная холодность, а желание иметь полную свободу и ни от кого не зависеть.

В числе его друзей были двое выдающихся ученых – его преподаватель Генри Сиджуик, профессор этики, и физик Джон Стратт, впоследствии 3-й барон Рейли, нобелевский лауреат и канцлер университета. Оба женились на сестрах Бальфура. В те времена интеллеktуал отождествлялся с агностиком, и кембриджские друзья<sup>118</sup>, знавшие о наследственной религиозности Бальфура, считали его «реликтом мышления старых поколений». Светские же приятели после опубликования в 1879 году его первой книги «Защита философского сомнения» решили, что он отстаивает агностицизм, и при упоминании его имени «принимали важный вид». В действительности, выражая сомнения в материальной реальности, автор утверждал право на духовную веру, изложив эту концепцию во второй книге – «Основания веры». Каждый воскресный вечер он устраивал семейный молебен в Уиттинхеме, где жили его незамужняя сестра Алиса и женатые братья с многочисленными детьми. Его заворожили иудаизм Ветхого Завета и судьба «библейского народа», и он был крайне озабочен положением евреев в современном мире<sup>119</sup>. Племянница и биограф Бальфура еще в детстве переняла от него идею о том, что «христианская вера и цивилизация в неоплатном долгу перед иудаизмом».

В Лондоне никого так часто и охотно не приглашали на званые обеды и вечерние посиделки, как Бальфура. Пренебрегая неукоснительным правилом, обязывавшим лидера палаты находиться на своем месте и участвовать в заседаниях, он исчезал в обеденное время и появлялся через пару часов в вечернем костюме. Во всех дневниковых записях отмечается его присутствие на домашних приемах и званых обедах. «У Ротшильдов, – писал Джон Морли, – только Бальфур, *partie carrée*<sup>12</sup>, всегда желанный гость». Он был среди двадцати гостей Гарри Каста, когда в доме наверху начался пожар, но обед и оживленные беседы продолжались, а лакеи, стоя навтыжку, держали ваннные полотенца и оберегали дам и господ от воды, лившейся из брандспойтов<sup>120</sup>. Его видели в Бленхеймском дворце у Мальборо на званом вечере вместе с принцем и принцессой Уэльскими, Керзонами, четой Лондондерри, Гренфеллами и Гарри Чаплином. Он был на пиршестве в Чатсуорте у Девонширов, где также присутствовали герцог и герцогиня Коннот, граф Менсдорфф, австрийский посол, уродливый, скабрезный и забавный маркиз де Севераль, посол Португалии, де Греи, Рибблсдейлы и Гренфеллы. Он был замечен в Хатфилде на приеме у Солсбери, где были также герцог Аргайл, мистер спикер Пил с дочерью, мистер Бакл из «Таймс», Джордж Керзон и генерал лорд Метуэн. Его заприметили и в Кассиобери, усадьбе лорда Эссекса, куда в воскресный день, завершавший лондонский светский сезон, заглянула на чай Эдит Уортон. Она увидела там «на лужайке под могучими кедрами цвет лондонского общества: мистера Бальфура, леди Дезборо, леди Эльхо, Джона Сарджента, Генри Джеймса и других представителей блистательного мира избранных, которых настолько

<sup>12</sup> Увеселение вчетвером (*фр.*).

утомили неустанные светские заботы последних недель... что они едва находили в себе силы для великодушной улыбки».

Но чаще всего Бальфура видели в Клаудзе, усадьбе баронета сэра Перси Уиндема, излюбленном сельском пристанище для «духов». В этой компании родственников душ его особенно интересовала леди Эльхо, одна из трех сестер-красавиц Уиндем. С ней, хотя она и была женой друга, Бальфур уже лет двенадцать благоразумно и осмотрительно поддерживал любовную связь, о чем свидетельствуют сохранившиеся письма. Сарджента, писавшего портрет сестер в 1899 году, не взволновали какие-либо реалистические детали вроде бровей леди Чарльз Бересфорд. Леди Эльхо, миссис Теннант и миссис Адин изображены на софе в фарфорово-белых одеяниях и надменно-грациозных позах – олицетворение аристократической женственности.

Дамы общества «духов», противясь викторианскому идеалу женщин, хотели быть и грациозными, и интеллектуальными, и достаточно свободными для того, чтобы самим распоряжаться своей нравственностью. Единственную американку среди них, очаровательную Дейси Уайт, жену первого секретаря американского посольства, однажды приятель поздравил с тем, что она не позволяет себе измениться под влиянием «всех тех, кто имеет любовников»<sup>121</sup>. В этом отношении «духи» ничем не отличались от филистеров клуба принца Уэльского. Все они так или иначе были вовлечены в конспирацию, позволявшую отступать от викторианской морали и сохранять благопристойность. Связь Бальфура с леди Эльхо одно время приняла столь серьезный характер, что обеспокоила друзей. Какие чувства испытывал супруг Хьюго, лорд Эльхо, наследник графа Уимиз и член сообщества «духов», хотя и молчаливый, нам не известно. Подобные отношения, как и роман герцога Девонширского, были нормой для тех, кого надежно оберегали от попреков и сильная натура, и высокое положение.

Бальфур стал членом парламента от семейного округа не столько по желанию, сколько по наследственному праву старшего сына и Сесила. К тому времени, когда в 1895 году он занял кабинет на Даунинг-стрит в качестве первого лорда казначейства и лидера палаты общин, сменив дядю, пожелавшего вести домашний образ жизни, его врожденная предрасположенность к политике переросла в страсть по мере приумножения опыта и власти. Но от этого бесстрастности и отрешенности в нем не уменьшилось. На критику он реагировал беззлобно, как на забавного жучка, которого надо не ругать, а повнимательнее рассмотреть. «Неплохой мальчик, – говорил он об оппоненте. – У него любопытный взгляд на вещи. Небезынтересный»<sup>122</sup>. В душе Бальфур был и консерватором, стремившимся сохранить все лучшее в том мире, который знал, и либералом, по словам невестки, «тянувшимся к прогрессу». В нем чувствовалась «природная упругость юности»<sup>123</sup>, как говорил один из его приятелей, и «свежесть, ясность и оптимизм» умонастроения, по мнению другого. Позднее, уже в роли премьер-министра, он первым из глав правительств приехал в Букингемский дворец на автомобиле, а в палату общин в шляпе «хомбург».

Сам Бальфур относил себя к числу консерваторов, осознававших необходимость отвечать на вызовы рабочего класса. Однако вскормленные на привилегиях, они не могли ни на йоту поступиться своими интересами. Уже в первые годы парламентской деятельности Бальфур присоединился к четверым «радикальным» тори так называемой Четвертой партии лорда Рэндольфа Черчилля<sup>124</sup>. Они занимали места на передней скамье, и Бальфур сидел вместе с ними, поскольку, как он объяснял, там было больше пространства для его ног, но скорее всего по причине общности взглядов. Четвертая партия играла роль овода в политике, получившей название «демократии тори», суть которой сводилась к вере в то, что политическую силу рабочего класса может обуздать партнерство с тори. Если рабочие поймут, заявлял лорд Рэндольф Черчилль в 1892 году, что «добьются своих целей и выгод» при существующем порядке, о сохранении которого должны пекаться все тори, то все будет хорошо. Если же консерваторы будут упорно отвергать их требования, «неразумно и недальновидно защищая существующие

права собственности», то рабочий класс ополчится против них. Тори были в меньшинстве, и для них было крайне важно завоевать «голоса трудящихся масс».

В действительности Бальфур никогда не испытывал влечения к этой довольно разумной концепции, как, впрочем, и лорд Рэндольф, позабывший о ней, когда дело дошло до ее практического применения. Абстрактно Бальфуру нравилась демократия, и он допускал возможность расширения электората, прав рабочих и улучшения условий их труда, но не путем разрушения стен, ограждавших привилегии правящего класса<sup>125</sup>. В этом и заключались и главная проблема, и главная уловка «демократии тори». Ее проповедники хотели одновременно и удовлетворить требования рабочего класса, и сохранить в неприкосновенности цитадель привилегий. Бальфур разглядел горькую правду истории человечества: прогресса и улучшений в жизни одних людей невозможно достичь без потерь для других. Но он продолжал абстрактно верить в то, что социализм никогда не завладеет рабочим классом, если «те, кто держит в своих руках коллективную силу сообщества, будут демонстрировать желание... устранять поводы для обид и недовольства». Когда же действительно возникала необходимость в практических мерах по улучшению условий жизни рабочих, он не проявлял ни энтузиазма, ни озабоченности их положением. «Что это такое “профсоюз”?» – спросил он как-то друга-либерала<sup>126</sup>. Марго Асквит однажды сравнила его с дядей по чувству юмора, литературному стилю и пристрастию к науке и религии. Есть ли какая-нибудь разница между ними? «Мой дядя был тори, а я – либерал», – ответил Бальфур<sup>127</sup>. Однако, судя по молчаливому согласию дяди с прежними шашнями племянника с «радикальными» тори и доверительным отношениям дяди с племянником, в их мировоззрении было больше единства, нежели разногласий.

Для современников Бальфур, безусловно, был загадочной личностью. Многих озадачивали парадоксальность его натуры, противоречивость мнений и нестандартность отношения к жизни и политике: и то и другое он никогда не воспринимал лишь в черно-белых тонах. В результате его нередко обвиняли в цинизме, а либералы – даже в порочности. Герберт Уэллс, изобразив его Ившемом в «Новом Макиавелли», написал: «Набирая очки в игре за партийные преимущества, Ившем иногда самым безнравственным и бессовестным образом использовал свой пронизательный ум... Разве его это смущало? Разве для него хоть что-то имело какое-то значение?» Уинстон Черчилль тоже однажды употребил слово «безнравственность» в разговоре о нем с миссис Асквит<sup>128</sup>. Она усматривала секрет невозмутимости Бальфура во времена кризисов в его «безразличном отношении к самым серьезным вещам и неверии в то, что счастье человечества зависит от того, как будут развиваться те или иные события». В действительности у Бальфура имелись базовые убеждения, но он обладал и способностью услышать аргументы всех сторон – бич мыслящего человека. Однажды, прибыв на званый ужин в очень знатный дом, где парадная лестница разделялась надвое, он минут двадцать стоял внизу, решая непростую логическую задачу – пойти по левой или правой стороне.

Когда в 1887 году Солсбери назначил племянника на трудный и опасный пост главного секретаря по Ирландии, Бальфуру пророчили фиаско. Его считали томным и апатичным интеллектуалом, а в прессе называли «принцем обаяния» и даже «мисс Бальфур». Ирландию терзала хроническая война между лендлордами и арендаторами, подстегиваемая агитаторами гомруля. Полиция ежедневно выселяла должников, а в ответ разъяренные толпы забрасывали ее камнями и поливали кипятком. Память об участии, постигшей пять лет назад лорда Фредерика Кавендиша, еще не выветрилась, и «все снизу доверху дрожали от страха». Бальфур, пренебрегая угрозами, совершил деяние, изумившее обитателей обоих островов. Он заявил, что намерен быть столь же «непреклонным, как Кромвель»<sup>129</sup> в наведении законопослушания и таким же «радикалом, как любой реформатор» в искоренении несправедливости в земельных отношениях. Его решительность «врагов застала врасплох<sup>130</sup>, – писал Джон Морли, – а друзей привела в восторг, какого еще не наблюдалось в политической жизни нашего времени».

Он сразу прославился, в Ирландии его прозвали «кровавым Бальфуrom», а в Англии избрали лидером партии.

После отставки У. Г. Смита в 1891 году Бальфур стал и лидером палаты общин. Полное пренебрежение опасностями, проявленное на посту секретаря по Ирландии, открыло в нем неизвестное доселе современникам качество – мужество или отсутствие в характере такого распространенного свойства, как подверженность страху. Джордж Уиндем, личный секретарь Бальфура, писал из Дублина о «почти комедийном» восхищении ирландских лоялистов своим шефом, объясняя это тем, что «подлинное мужество столь редкий дар, а страх причиняет столько страданий и несчастий, что люди готовы пасть ниц перед любым человеком, лишенным чувства страха». Отсутствие какой-либо нервозности и пугливости в характере Бальфура Уинстон Черчилль связывал с «прирожденной холодностью натуры», но признавал, что «еще не встречал более мужественного человека»<sup>131</sup>: «Если приставить к его лицу пистолет, то, думаю, даже это его не испугает».

Бесстрашие помогало ему и в дебатах. Бальфур никогда не тушевался ни перед оппонентами, ни в затруднительных ситуациях. По словам Морли, он руководствовался принципом д-ра Джонсона: «Надо демонстрировать уважительное отношение к противнику, то есть надеяться его достоинствами, которых он не заслуживает». Говорил он по обыкновению «изобретательно и хитроумно, добродушно подшучивая над оппонентами»<sup>132</sup>. Хотя на публике Бальфур редко допускал обидные выражения, в частном порядке мог высказаться не только резко, но и оскорбительно. Однажды он сказал о коллеге буквально следующее: «Если бы у него было побольше мозгов, то он стал бы полоумным»<sup>133</sup>. В палате общин Бальфур обходился с оппонентами почтительно и любезно, но, когда на него нападали ирландские депутаты, он, выслушав их с безмятежной улыбкой, поднимался и отвечал им такими словами, которые имели эффект «шрапнели»<sup>134</sup>. Конечно, все это ему давалось не без душевного напряжения. Он признавался другу, что «очень плохо засыпает после тяжелых вечерних дебатов в палате общин»: «Я никогда не теряю самообладания. Но когда нервы на пределе, мне необходимо время, чтобы их остудить»<sup>135</sup>. Он восхищался Маколи, его манерой изложения фактов и стилем выступления. Речи самого Бальфура, которые он произносил не по заранее написанному тексту, всегда были спонтанными, непринужденными и тем не менее совершенными. Лорд Виллоби де Брук, молодой и активный член другой палаты, специально приходил послушать выступления Бальфура. Ему нравилось наблюдать за тем, как «идеи и аргументы излагаются в логической последовательности без каких-либо признаков их предварительной компоновки, как искусно, совершенно и легко протекает весь процесс мышления и выстраивания фраз и доказательств, и испытывать восторг от ораторского мастерства».

В действительности Бальфур весьма вольно обращался с фактами, чурался статистики, и память у него была далеко не идеальная, но его всегда выручали артистичность и находчивость. Когда предстояло обсуждение сложного законопроекта, он предусмотрительно брал с собой эксперта – министра внутренних дел или генерального прокурора, если вдруг начал путаться в деталях, кто-нибудь из коллег шепотом давал подсказку. По описанию сэра Генри Луси, парламентского корреспондента журнала «Панч», мистер Бальфур делал паузу, одарял коллегу дружелюбным взглядом, в котором содержалась и определенная доза укоризны, и говорил весомо: «Именно так». После очередной заминки и подсказки сцена повторялась, но «именно так» звучало строже и коллеге давалось понять, что терпение не беспредельно, его простят и на этот раз, но лучше не допускать более таких промашек.

Он никогда не спешил и нередко вразвалку и с барственным видом появлялся в парламенте, когда уже практически истекало время, отведенное для ответов на запросы депутатов. Бальфур совершил настоящую революцию, когда перенес короткие заседания в палате общин со среды на пятницу, желая, видимо, нарастить уик-энд, который сам и придумал для того,

чтобы предаваться любимой игре в гольф. «Эта чертова шотландская забава», – с отвращением говорил один англичанин о спортивном увлечении, ставшем чрезвычайно популярным благодаря Бальфуру<sup>136</sup>. Сам Бальфур, пренебрегая всеми обычаями, играл в гольф даже по воскресеньям, делая исключение для Шотландии, и от него исходила такая магия, что общество с легкостью перенимало его вкусы и предпочтения, усвоив в том числе и привычку проводить в загородном доме уик-энд. Он не увлекался ни стрельбой из ружей, ни охотой, но, помимо гольфа, с азартом играл в теннис, разъезжал, когда позволяло время, на велосипеде, иногда преодолевая за один заезд по двадцать миль, и пристрастился к автомобилям. Его представление о том, как надо отвлекаться от дел, тоже было нестандартным. Когда сестра, леди Рейли<sup>137</sup>, спросила приехавшего к ней в гости брата, какой вид развлечения для него предпочтительнее, Бальфур ответил: «О, что-нибудь занимательное. Например, поговорить о науке с умными людьми из Кембриджа». Любил он и музыку. Его эссе о Генделе опубликовал литературно-публицистический журнал «Эдинборо ревью», и Бальфур совершил музыкальный тур по Германии, во время которого обаял знаменитую и малообщительную реликвию фрау Вагнер.

Но под кажущейся апатичностью и бесстрастностью скрывалась невероятная трудоспособность. Он не только представлял правительство в палате общин, ему нередко приходилось дублировать дядю в министерстве иностранных дел. Когда в 1902 году Солсбери вышел в отставку, у лорда Эшера не было никаких сомнений в том, что его отсутствие с лихвой компенсируется «кипучей энергией Артура»<sup>138</sup>. Для сохранения этой кипучей энергии Бальфур старался по возможности заниматься делами в постели и крайне редко поднимался из нее до полудня.

Он много читал: одеваясь, заглядывал в научный труд, лежавший на камине; на ночном столике у него всегда имелся детектив; полки гостиной были заполнены философскими и теологическими трактатами; книгами была завалена софа, журналами – столы и кресла; губкой он перелистывал страницы французских новелл, принимая ванну. Бальфур не любил газеты. Он не подписывался на них, о чем презрительно написал мистер Бакл, редактор «Таймс». Однажды журналист У. Т. Стед в разговоре с принцем Уэльским заметил, что Бальфур замечательный человек, из тех, на кого можно положиться в драке, но чересчур индифферентный. «О да, – ответил принц, соглашаясь, – он не читает даже газет, вы же знаете»<sup>139</sup>.

Принц не устаивал Бальфура своим вниманием<sup>140</sup>. Королева Виктория, напротив, обожала его<sup>141</sup>. Приезжая в замок Балморал, как сообщал сэр Генри Понсонби, Бальфур «обсуждал с королевой текущие дела и указывал на расхождения с ней таким элегантно-образом, что заставлял ее задуматься»: «Полагаю, что королева относилась к нему с симпатией, но немножко побаивалась его». По мнению Понсонби, Бальфур покорила королеву, «хотя сам, похоже, никогда не воспринимал ее всерьез». Королева выразила свое мнение о нем в 1896 году после беседы о Крите, турецких ужасах, Судане и законе об образовании. На нее произвели большое впечатление<sup>142</sup> «искренность мистера Бальфура, беспристрастность и широта суждений, способность всесторонне рассмотреть проблему, ко всем чудесное доброжелательное отношение и приятная мягкость характера».

Этому блаженному времени покоя, стабильности, ощущений безопасности и превосходства между тем близился конец. У Бальфура имелись свои слабости и червоточины, и когда столетие закончилось и наступили менее благодатные годы, они дали о себе знать. По своему характеру и свойствам натуры, включая и все изъяны, он был, можно сказать, последним истинным патрицием, к кому применимы слова Селесты, горничной Пруста<sup>143</sup>, сказанные ею о своем хозяине после его смерти: «Когда познаешь с месье Прустом, все другие господа кажутся плебеями».

После Рима только Британия располагала столь огромной империей. Она занимала более четверти земной суши, и этот факт был красочно засвидетельствован ее подданными во время шествия на благодарственный молебен в собор Святого Павла 22 июня 1897 года, в день бриллиантового юбилея королевы. В отличие от золотого юбилея 1887 года на этот раз в торжествах не принимали участие иностранные монархи. На празднество съехались премьеры Канады, Новой Зеландии, Капской колонии, Наталя, Ньюфаундленда и шести штатов Австралии. В парадном строю шла многонациональная кавалерия: капские конные стрелки, канадские гусары, уланы из Нового Южного Уэльса, конники Тринидада, бородатые всадники в тюрбанах из Капуртхалы, Баднагара и других штатов Индии, запяжики из Кипра, украшенные фесками и гордо восседавшие на низкорослых и черногривых пони. Улицы заполнили полки темнокожих воинов в причудливом обмундировании, «и грозных, и в то же время прелестных», как писала восторженная пресса: даяки из Борнео, пушкари Ямайки, полицейские Нигерии, гиганты-сикхи из Индии, хауса – обитатели Золотого Берега, китайцы из Гонконга, малайцы Сингапура, негры из Вест-Индии, Британской Гвианы и Сьерра-Леоне; рота за ротой проходили перед глазами изумленной публики. Процессию завершала четырехместная карета с открытым верхом, запряженная восьмеркой кремовых лошадей: в ней сидело хрупкое и миниатюрное существо в черной шляпке с колыхавшимися кремовыми перьями. В небе ярко сияло солнце, легкий ветерок развеивал флаги, притягивали взгляд цветы на фонарных столбах, на шесть миль по улицам города растянулись многотысячные толпы ликующих людей, размахивавших руками и бурно выражавших свои чувства любви и гордости. «Никого и никогда, я полагаю, не удостоивали таких оваций, как меня, – записала королева в дневнике. – Казалось, передо мною не было ни одного лица, которое не светилось бы искренней радостью. Я была очень растрогана и благодарна»<sup>144</sup>.

Несколько месяцев продолжалась эйфория самолюбования, пронизанная, как заметил Редьярд Киплинг, «оптимизмом, который меня напугал»<sup>145</sup>. Он взялся за перо, и на следующее утро после парада в газете «Таймс» появилось суровое предупреждение – «Отпустительная молитва»<sup>13</sup>. Публикация оказала огромное воздействие на общественное сознание. «Самая выдающаяся поэма современности», – провозгласил известный юрист сэра Эдвард Кларк<sup>146</sup>. Но могли ли простые люди серьезно отнестись к предостережению, могли ли они, видя праздничные церемонии, салюты и сановных персонажей в цилиндрах, ехавших на Имперскую конференцию в Уайтхолл, поверить в то, что все это кажущееся величие так же эфемерно, как «Ниневия и Тир»?

11 октября 1899 года отдаленная угроза, неуклонно нараставшая после рейда Джеймсона, превратилась в реальную Англо-бурскую войну. «Война Джо»<sup>147</sup> – назвал ее лорд Солсбери, отдавая должное агрессивной роли, сыгранной в развязывании конфликта мистером Джозефом Чемберленом, министром колоний. Начав общественно-политическую деятельность радикалом-либералом, в принципе противившимся империализму, мистер Чемберлен со временем, как он сам говорил, научился «мыслить имперскими категориями»<sup>148</sup>. Это перевоплощение человека, обладавшего незаурядной интуицией и предвидением возможностей, понять нетрудно: лишь за последние двенадцать лет империя дополнилась землями, в двадцать четыре раза превышавшими территорию Великобритании. Становясь членом правительства в 1895 году, Чемберлен сознательно избрал для себя министерство колоний, убежденный в том, что именно там должны коваться успехи и «определяться судьба» империи – императив, заставивший американцев обратить свои взоры на Кубу и Гавайи, а немцев, бельгийцев, французов и даже итальянцев проявить живой интерес к дележу Африки.

<sup>13</sup> Recessional – в переводе О. Юрьева. *Р. Киплинг. Рассказы; Стихотворения.* Л.: Художественная литература, 1989.

Чемберлен отличался неумолимой энергией, недюжинными способностями и беспредельными амбициями. Он не принадлежал к классу земельной аристократии, но имел внушительный и осанистый облик. Черты его лица были довольно ясные и элегантные, глаза практически ничего не выражали, а черно-смоляные волосы всегда гладко зачесаны. На лице постоянно сохранялась некая маска, декорированная моноклем с черной лентой. Одевался он безукоризненно, ежедневно меняя орхидею в петлице. Сколотив немалое состояние на производстве болтов, винтов и шурупов в Бирмингеме, мистер Чемберлен в тридцать восемь лет бросил заниматься бизнесом, стал мэром города и на ниве образования и социальных реформ приобрел национальную известность. В сорок лет он уже был членом парламента от Бирмингема, рупором радикалов, поносившим аристократов и плутократов не хуже социалиста, и довольно быстро занял пост министра торговли в правительстве Гладстона 1880 года. Твердохарактерный, хладнокровный и властный Джозеф Чемберлен завоевал широкую популярность во всем Мидлендсе, представляя собой уже такую политическую силу, с которой нельзя было не считаться, и намереваясь стать преемником Гладстона. Но «великий старец» не спешил, и Чемберлен, горя от нетерпения, воспользовался гомрулем для того, чтобы выйти из партии вместе с большой группой единомышленников. В преддверии выборов 1895 года консерваторы с радостью приняли его в свои ряды. Он не разделял безразличное отношение патрициев к общественному мнению и всеми манерами и одеянием обращал на себя внимание, превратившись в самую заметную и запоминающуюся личность. Для широкой публики он стал «пробивным Джо», «министром империи» и самым известным персонажем в новом правительстве.

Однако на лорда Солсбери он не произвел впечатления. «Он не доказал мне, что у него есть убеждения, – написал лорд Бальфуру еще в 1886 году, – и в этом Гладстон беспредельно превосходит его». Оценка Бальфура была помягче, но прямолинейнее. «Джо, хотя мы все и любим его, – писал он леди Эльхо, – абсолютно или совершенно не сходится, не смешивается в химическую комбинацию с нами»<sup>149</sup>. И это неудивительно. Чемберлен не учился в школе или университете (в Оксфорде или Кембридже), где, согласно лорду Эшеру, «человек со способностями приобретает навыки сдержанности и бесстрастности». Мало того, он не принадлежал и к англиканской церкви. Тем не менее Джозеф Чемберлен с легкостью поддерживал отношения с новыми друзьями, видели даже, как на террасе палаты общин он угощал чаем большую группу дам и господ, включая трех герцогинь<sup>150</sup>. Безусловно, его никоим образом нельзя было обвинить в излишней индифферентности, как Бальфура. Он всегда был одержим той или иной страстной идеей и стремился воплотить ее в жизнь. Но ему не хватало постоянства, прочных и стабильных убеждений. Он был всего лишь на пять лет моложе Солсбери и на двенадцать лет старше Бальфура, но представлял силы и методы действия, присущие новому времени, приходу которого правительство Солсбери упорно сопротивлялось. «Разница между Джо и мною, – говорил Бальфур, – такая же, как между молодостью и старостью. Я олицетворяю старость»<sup>151</sup>. Бальфур имел за собой долгие годы безмятежного существования в условиях, доступных с рождения только для привилегированного высшего общества. Джо был магнатом нового времени, спешившим жить. Причины, по которым они «не смешивались», были фундаментальные.

Какое-то время поддерживались взаимно корректные отношения между Чемберленом и его новыми коллегами. Когда его заподозрили в причастности к рейду Джеймсона и либералы выступили с обвинениями, правительство поддержало его и парламентский комитет по расследованию не обнаружил ничего такого, что могло бы указывать на вовлеченность министерства колоний. Джо вышел не только сухим из воды, но и стал еще более агрессивным. «Я не знаю, кому из наших многочисленных врагов мы должны бросить вызов, – писал он Солсбери после телеграммы Крюгера. – И с этим нам надо определиться»<sup>152</sup>. Министерство Чемберлена вело все более неприязненные переговоры с Бурской республикой, и, как сообщал Бальфур Солс-

бери, его излюбленным методом было «применять различные раздражители». Пока шли переговоры, Британия отомстила за понесенное прежде поражение: в 1898 году Китченер взял Хартум и водрузил британский флаг над могилой генерала Гордона. Выше по Нилу возле Фашоды французская военная экспедиция, войдя в Судан, столкнулась с британцами и после некоторого замешательства отступила без единого выстрела. Престиж Британии возрастал одновременно с непопулярностью.

Потом разразилась Англо-бурская война. Британская армия, продемонстрировавшая полную боеготовность в Крымской войне, за годы «славной изоляции» потеряла ее и сразу же понесла ряд тяжелых поражений. Буры, как оказалось, уже заимели орудия оружейных заводов «Крупп» и «Крезо» и собственных пушкарей, которыми зачастую были немцы или французы. Президент Крюгер употребил репарации, полученные за рейд Джеймсона, на закупку артиллерии, пулеметов «максим», винтовок и боеприпасов для решающих боев. За одну «черную неделю» в декабре 1899 года лорд Метуэн потерпел поражение при Магерсфонтейне, генерал Гатакр у Стормберга, а главнокомандующий сэр Редверс Буллер под Коленсо, лишившись одиннадцати орудий и сдав Кимберли и Ледисмит. Дома соотечественники изумлялись и недоумевали. Герцог Аргайл<sup>153</sup>, тяжело болевший, так и не оправившись от шока, умер, шепча слова Теннисона о герцоге Веллингтоне, «никогда не терявшем английских пушек».

«Черной неделей» завершилась эпоха бесспорного господства британцев в мире. Последнюю точку в этом процессе поставил вскоре кайзер Вильгельм, успешно настоявший на том, чтобы немецкий командующий возглавил экспедиционные силы, отправлявшиеся в Пекин наказывать «боксеров»<sup>14</sup>. Конечно, закоперщиками были немцы, но на месте уже находились значительные британские войска. Возражения Солсбери носили принципиальный характер. Он объяснил германскому послу: «Для британцев недопустимо, чтобы ими командовал иностранец»<sup>154</sup>. Однако он не мог позволить себе создать новую конфликтную ситуацию, в которой буры могли рассчитывать на внешнюю помощь, и уступил.

В новом году с приходом нового командующего, сменившего бедолагу Буллера, и прибытием свежих подкреплений постепенно удалось внести коррективы в ход военных действий. В мае 1900 года был освобожден Мафекинг, в июне под истеричный аккомпанемент дома лорд Робертс вошел в Преторию, а 1 сентября британцы аннексировали Трансвааль в полной уверенности, что там осталось лишь провести зачистку. На волне возрожденного оптимизма и морального духа консерваторы призвали провести в октябре выборы, получившие название «хаки». Используя лозунг «каждое место, выигранное либералами, это место, выигранное бурами», они вернули бразды правления в свои руки. Хотя преобладал ярый патриотизм, выражались и антивоенные настроения. Они исходили не только от «сторонников Малой Англии», придерживавшихся ортодоксальных традиций Гладстона, но и от людей, зараженных низменными интересами, ослепленных блеском золота рудников Рэнда и перспективами легкой наживы, открывавшимися с пришествием грабительского капитализма и торгашества. Оппозиция войне помогла молодому члену парламента Дэвиду Ллойд-Джорджу обрести известность, хотя он и не выступал против аннексий, а лишь предлагал вести переговоры о прекращении военных действий.

Кто-то ожидал наступление XX века с надеждами, а кто-то испытывал ностальгию по прошлому. Леди Солсбери<sup>155</sup> перед смертью в ноябре 1899 года говорила юному родственнику: «Молодое поколение может критиковать нас сколько угодно, но сможет ли оно дать людям все то хорошее, что видели мы?»

---

<sup>14</sup> Имеется в виду Боксерское, или Ихэтуаньское, восстание в Китае против иностранного присутствия (1900 год). Многие участники ихэтуаней, «отрядов гармонии и справедливости», занимались физическими упражнениями, напоминавшими кулачные бои, отсюда и европейское название восстания. Подавлено объединенными усилиями восьми держав, в том числе и России.

Королевский астроном, взвесив все «за» и «против», избрал 1900-й, а не 1899-й сотым и последним годом XIX века. Момент исхода самого насыщенного надеждами и переменами столетия в истории человечества наступил быстро. Через три недели, 24 января 1901 года, умерла королева Виктория, своей кончиной подчеркнув завершение целой эпохи. Лорд Солсбери, уставший от премьерства, тоже был готов последовать за ней, но не мог сделать этого до окончательной победы в Южной Африке. Она пришла в июне 1902 года, а 14 июля лорд Солсбери подал в отставку. Вновь возникала ассоциация с уходом в прошлое чего-то чрезвычайно важного: авторитета, родовитости, традиции. Парижская газета «Тан»<sup>156</sup>, продолжая смаковать унижительное поражение британцев в Фашоде, написала: «С отставкой лорда Солсбери завершается целая историческая эпоха. По иронии судьбы он оставляет в наследство демократизированную, империалистическую, колониальную и вульгаризированную Англию – антипод модели тори, аристократической традиции и высокой церкви, за сохранение которых он ратовал. Это Англия мистера Чемберлена, а не мистера Бальфура, хотя он и остается номинальным главой».

Королева Виктория, лорд Солсбери и XIX век канули в прошлое. За год до смерти королева возвращалась из Ирландии на яхте по бурному морю. После того как на судно накатилась особенно сильная волна, она позвала доктора и попросила его: «Немедля сходите, сэр Джеймс, к адмиралу, передайте мои комплименты и скажите, чтобы такие вещи больше не повторялись»<sup>157</sup>.

Но разве кто-нибудь в состоянии остановить волны?

## 2. Идеи и деяния. Анархисты: 1890—1914

Настолько притягательной была идея общества без государственности, закона и частной собственности, в котором исчезнет коррупция и человек обретет свободу, предназначенную ему Богом, что за двадцать лет, предшествовавших Первой мировой войне, начавшейся в 1914 году, были принесены в жертву жизни шестерых глав государств. Во имя этой идеи были убиты президент Франции Карно (1894 год), премьер-министр Испании Кановас (1897), императрица Елизавета Австрийская (1898), король Италии Умберто (1900), президент Соединенных Штатов Мак-Кинли (1901) и еще один испанский премьер Каналехас (1912). Никто из них не был тираном. Их убили анархисты.

Ни один из этих убийц не был героем движения, осуждавшего на смерть других людей. Их идолом была идея, по выражению историка идейного бунта, «иллюзорная мечта разуверившихся романтиков»<sup>1</sup>. У бунта были свои теоретики и идеологи, интеллектуалы, искренние и честные в своих убеждениях и крайне озабоченные судьбами человечества. Движение взрастало и своих «рыцарей». Как правило, ими оказывались горемыки, в силу разных причин – злосчастия, безысходности, озлобленности, моральной деградации или беспросветной нищеты – поначалу заинтересовавшиеся идеей, а потом фанатично поверившие в нее и почувствовавшие в себе потребность в практическом действии. Они-то и становились убийцами. Между этими двумя группами не было непосредственных контактов. Теоретики в памфлетах и газетных статьях выстраивали заманчивые модели общества анархического тысячелетия, возбуждали ненависть к правящему классу и его презренному союзнику – буржуазии, призывали действовать и свергнуть врага. К кому они обращались? Какие методы борьбы с врагом имелись в виду? Конкретных указаний они не давали. Но где-то неведомое им одинокое и несчастное существо, задавленное невзгодами, прислушивалось к голосам мыслителей и начинало грезить о светлом будущем без страданий от голода и унижений хозяина. В конце концов, кто-нибудь, проникнувшись осознанием несправедливости и чувством долга, восставал и совершал убийство, принося в жертву и свою жизнь во имя идеи.

Эти существа росли в постоянной нужде, голоде и грязи, ютятся в кроличьих каморках и задыхаясь от кашля чахоточных больных, смрада нечистот, вареной капусты и протухшего пива. Там не переставая орали дети, вопили поссорившиеся супруги, с потолка текла вода, а в зимнее время из разбитых окон сквозила стужа. В одной комнате обитали мужчины и женщины, родители и дети, старики и старухи, здесь они и ели, и испражнялись, и болели, и умирали. Старые ящики служили им стульями, постелью – кипы вонючей соломы, столами – доски, положенные на ящики. Детям не хватало одежды, и иногда их отправляли в школу по очереди. В соседях могли оказаться пьянчуги, злодеи, избивавшие жен, воры и проститутки. Над этими людьми постоянно висел дамоклов меч безработицы. Чтобы выжить, им надо было трудиться семнадцать часов в день семь дней в неделю и получать 13 центов за час закручивания сигар на содержание семьи из пяти человек. Единственным спасением для них была смерть, и единственное расточительство они позволяли себе, тратя все сбережения на похоронную карету с цветами и процессию плакальщиц, дабы избежать позорного погребения в «земле горшечника».

Согласно верованиям анархистов, лишь после искоренения собственности, этой перво-причины всех бед, человек не будет жить за счет труда другого человека и возродятся подлинно справедливые отношения между людьми. Государство надо заменить добровольным объединением индивидов, а законность – стремлением к всеобщему благоденствию. Этих целей нельзя достичь реформированием существующих порядков, голосованиями и разного рода увещеваниями, поскольку правящий класс никогда не откажется от собственности или власти и законов, оберегающих права собственности. Необходимо применить насилие. Только революци-

онным свержением существующей злостной системы можно добиться желаемого результата. Лишь после разрушения старой структуры можно построить новый социальный порядок, при котором все равны, всем всего хватает и никто никем не повелевает. Столь привлекательным и разумным казалось такое будущее устройство, что оно не могло не вызвать положительной реакции угнетаемых классов. Их надо было лишь пробудить пропагандой и самой идеи, и действий, совершаемых во имя идеи и побуждающих к восстанию.

В начальный период становления анархизма, зародившегося в революционном 1848 году, его главными глашатаями были француз Пьер Прудон и Михаил Бакунин, русский изгнанник, ученик Прудона, ставший активным лидером движения.

«Всякий, кто пытается возложить на меня руку и управлять мною, – провозгласил Прудон, – узурпатор и тиран, и я объявляю его своим врагом... Управление человека человеком есть рабство». Законы, поддерживающие такие отношения, суть «паутина богатеев» и «железные цепи для бедных». «Самая совершенная форма» свободного общества – никакого управления, и Прудон же первым дал определение этой модели человеческого общежития – «анархия»<sup>15</sup>. Он писал презрительно: «Управляться – это значит подвергаться надзору, инспектированию, слежке, регулированию, внушению, поучениям, контролю, нотациям и цензуре со стороны лиц, не обладающих ни умом, ни добродетелями. Это значит, что каждое ваше действие или сделка обречены на регистрацию, наложение печати, налогообложение, патентование, лицензирование, оценку, замер, взыскание, корректировку или крах. Под предлогом заботы об общественном благе вы подлежите эксплуатации, монополизации, экспроприации, ограблению, и при малейшем протесте или сетовании вас могут оштрафовать, известить гонениями, очернить, избить, поколотить дубинками, разоружить, арестовать, осудить, посадить в тюрьму, пристрелить, задушить в гарроте, депортировать, продать, предать, надуть, оболгать, оскорбить, обесчестить. В этом и заключается суть правления, его справедливости, его морали! А теперь представьте себе, что среди нас есть демократы, верящие в хорошее правительство, социалисты, поддерживающие эту подлость во имя свободы, равенства и братства, пролетарии, предлагающие своих кандидатов в президенты республики! Какое ханжество!»<sup>2</sup>

Прудон полагал, что «абстрактная идея правоты»<sup>3</sup> устранил необходимость в революции и человека можно убедить в целесообразности общества без государства, взывая к его разуму. Бакунин, натерпевшись от режима Николая I, надеялся только на насильственную революцию. Его соперник Карл Маркс утверждал, будто революцию способен совершить лишь индустриальный пролетариат, организованный и подготовленный для этой цели. Бакунин же был убежден в том, что революция произойдет в одной или нескольких экономически отсталых странах – Италии, Испании или России, где рабочие, хотя и неподготовленные, неорганизованные, неграмотные и не осознающие своих подлинных интересов, восстанут охотнее, так как им нечего терять. Задача революционера – популяризировать идею восстания в массах, невежественных и оболваненных правящим классом. Надо помочь им понять свои интересы, «пробудить» в них импульсы и мысли о восстании. Когда это произойдет, «их сила будет несокрушимой»<sup>4</sup>. Но Бакунин потерял руководство Первым интернационалом, которое перешло к Марксу, полагавшемуся на организацию масс.

Парадоксально, но влиять на массы анархистам мешали собственные принципиальные установки. Анархизм отвергал необходимость в политических партиях, которые Прудон считал «разновидностью абсолютизма», хотя готовить и совершать революцию вряд ли было возможно без подчинения авторитету, организованности и дисциплины. Всякий раз, когда анархисты брались за подготовку программы, перед ними остро вставала эта проблема. Но они

<sup>15</sup> «Ан» – без, «архэ» – власть (*греч.*).

отмахивались от нее. Революция должна вспыхнуть спонтанно. Нужна идея и искра, которая ее воспламенит.

Такой искрой, на что надеялись анархисты и чего боялись капиталисты, могли стать забастовка, хлебный бунт или сельский мятеж. Мадам Энбо, жене управляющего в романе Золя «Жерминаль», наблюдавшей за маршем бастующих шахтеров, окрашенных кровавыми бликами заходящего солнца, привиделось «красное зарево революции, которая однажды вечером на исходе века все уничтожит. Да, в тот вечер народ, освободившись от узды, пустит кровь среднему классу... под грохот башмаков эта ужасная толпа с грязными лицами и зловонным дыханием снесет старый мир... Заполыхают пожары, они не оставят ничего, ни единого су от богатств, ни крохи благоприобретенной собственности»<sup>16</sup>.

Каждый раз, когда шахтеры Золя наталкивались на ружья жандармерии, искра гасла. Магический момент, когда массы должны были осознать свои интересы и почувствовать силу, так и не наступил. Парижская коммуна возродилась и тут же умерла в 1871 году, не успев воспламенить всеобщее неповиновение. «Мы остались без масс, которые не желают восставать ради собственной свободы, – писал жене разочарованный Бакунин. – Если у них нет такого желания, то какой толк от нашей теоретической правоты? Мы бессильны»<sup>5</sup>. Разуверившись в возможности спасти мир, в 1876 году Бакунин умер, Колумб, как писал Александр Герцен, без Америки.

Тем временем на его родине идеи анархизма подхватили народники или популисты, иными словами активисты партии «Народная воля», основанной в 1879 году. В силу общинного характера землепользования в России реформаторы боготворили крестьянина как естественного социалиста, которому недостает лишь Мессии для пробуждения от спячки и революционного восстания. Этим Мессией должна стать бомба. «Террористская деятельность, – заявлялось в программе народников, – состоящая из уничтожения самых вредоносных лиц в правительстве, нацелена на подрыв престижа правительства и подъем революционного духа в народе и уверенности в успехе нашего дела».

В 1881 году народники совершили акт, потрясший весь мир: они убили царя Александра II. Свой триумф по значимости они сравнивали с падением Бастилии, положившим начало Великой Французской революции. Этим актом они выразили свой протест, призвали к единению всех угнетенных против угнетателей. Однако реакция была совершенно иная. Убиенного царя, хотя его корона, возможно, и символизировала автократию, прозвали «Освободителем» крепостных крестьян, и крестьяне оплакивали его, веря в то, что монарха убили «помещики, желая вернуть свои земли»<sup>6</sup>. Министры начали кампанию жестоких репрессий, общественность, позабыв о реформах, притихла, а революционное движение, «раздавленное и деморализованное, ушло в подполье». Так печально закончился первый этап деятельности анархизма.

Прежде чем анархизм вновь громко заявил о себе в Европе в девяностых годах, страшное событие произошло в Америке, в Чикаго. В августе 1886 года судья Джозеф Гэри приговорил к повешению восьмерых анархистов за убийство семерых полицейских, погибших 4 мая от бомбы, брошенной в вооруженную полицию, пытавшуюся разогнать манифестацию забастовщиков на площади Хеймаркет.

Трагедией завершилась мирная демонстрация с требованиями ввести восьмичасовой рабочий день. Но она была лишь частью десятилетней войны между рабочими и их хозяевами, основные баталии которой происходили в Чикаго. При каждом столкновении предприниматели использовали силы правопорядка – полицию, милицию, суды – своих союзников. На требования рабочих отвечали реальным применением оружия, локаутами и вербовкой штрейкбрехеров, охраняемых пинкертонами, вооруженными и присягнувшими в роли помощников шерифов. В классовой войне государство не занимало позицию нейтралитета. Рабочие, возму-

---

<sup>16</sup> Перевод по тексту автора.

щенные нищетой и несправедливостью, все больше озлоблялись, усиливались и страхи капиталистов, осознание угрозы и желание ее подавить. Даже такой далекий от этих проблем человек, как Генри Джеймс, ощутил «зловещее нарастание боли, силы и ненависти анархического подполья»<sup>7</sup>.

Анархизм не имел никакого отношения к борьбе рабочего класса за свои права, он был всего лишь одним из проявлений общего недовольства низших сословий. Но анархисты видели в нем горючий материал для революции. «Фунт динамита равноценен бушелю пуль, – доказывал Август Шпис, редактор анархистской немецкоязычной газеты в Чикаго «Арбайтер цайтунг». – Полиция и милиция, эти сторожевые псы капитализма, приготовились убивать!» И он был прав. Во время столкновения между рабочими и штрейкбрехерами полиция открыла огонь и убила двух человек. «Мщение! Мщение! Рабочие, к оружию!» – листовки с такими призывами Шпис в тот же вечер напечатал и распространил по всему городу. Он призывал всех прийти на митинг протеста. На следующий день народ действительно собрался на площади Хеймаркет, полиция начала разгонять демонстрантов, и неожиданно раздался взрыв бомбы. Кто ее бросил, неизвестно до сих пор.

Речи обвиняемых на суде, пронизанные решимостью и праведностью мучеников, получили широкую известность по всей Европе и Америке и создали анархизму такую рекламу, какой он никогда прежде не удостоивался. Пользуясь отсутствием прямых улик, они громко и утврждали, что их судят не за преступление и не за убийство, а за анархистские убеждения. «Пусть же знает весь мир, – восклицал Август Шпис, – что в 1886 году в штате Иллинойс восьмерых граждан приговорили к смерти за веру в лучшее будущее!»<sup>8</sup> Реализация их веры предполагала применение динамита, и месть общества измерялась степенью его испуга. Позднее смертные приговоры трем осужденным были заменены на тюремное заключение. Луис Линг, самый молодой, обаятельный и пылкий из осужденных, в отношении которого имелись свидетельства о причастности к изготовлению бомб, подорвал себя капсулой гремучей ртути накануне казни, написав своей кровью: «Да здравствует анархия!» Многие расценили самоубийство как признание вины. Остальные четверо, включая Шписа, были повешены 11 ноября 1887 года.

Многие годы силуэтами виселиц с четырьмя повешенными телами иллюстрировалась анархистская литература, а день 11 ноября отмечался как революционная памятная дата всеми анархистами Европы и Америки. В общественном сознании виселица тоже стала символом злосчастия, недовольства и протеста рабочего класса.

Человека, испытывавшего анархистские настроения и не знавшего об этом, можно было встретить где угодно. Якоб Риис, нью-йоркский полицейский репортер, описал в 1890 году, как ему повстречался такой персонаж на углу Пятой авеню и Четырнадцатой улицы. Странная фигура, стоявшая неподалеку, вдруг метнулась к карете, проезжавшей мимо с двумя разодетыми дамами, совершавшими послеобеденные покупки, и начала полосовать ножом ни в чем не повинных, но откормленных и гладких лошадей. Когда его задержали и посадили в кутузку, он сказал: «Им не приходится думать о завтрашнем дне. Они могут потратить за один час столько, сколько мне с детьми хватило бы на целый год». Это был один из тех индивидов, которые становились анархистами прямого действия.

В большинстве эти люди чувствовали себя изгоями, лишенными даже возможности во всеуслышание заявить о своем несчастном существовании. Они могли выразить протест лишь какому-нибудь прохожему или заезжему гостю, как это сделал, например, ирландский крестьянин, у которого отобрали землю. Когда его спросили, чего же он хочет, крестьянин, сжав кулак, ответил: «Чего я хочу? Судного дня!»<sup>9</sup>

Бедняка окружало общество, в котором властолюбие, роскошь и расточительство не знали границ. Там богатым подавали на обед сразу рыбу, дичь и говядину, они жили в домах

с мраморными полами и камчатными стенами, где можно было насчитать тридцать, сорок и даже пятьдесят комнат. Зимой они облачались в меха. Вокруг них всегда суежилась прислуга, чистившая сапоги, расчесывавшая волосы, заливавшая воду в ванну и поддерживавшая огонь в камине. В этом мире было принято устраивать званые завтраки наподобие утреннего застолья у мадам Нелли Мельбы в Савойе, во время которого гостям на десерт подавали «изумительные благоухающие пушистые персики», а пресыщенные гости прицельно метали их в прохожих под окнами.

Таков был образ жизни сильных мира сего, надменных собственников, обладателей фантастических состояний, которые, казалось, можно занять только нещадной эксплуатацией и обворовыванием трудящихся масс. «Что есть собственность?» – спрашивал Прудон современников и сам же отвечал на этот ставший знаменитым вопрос: «Собственность есть кража»<sup>10</sup>. «Знаете ли вы, – говорил один из собеседников в памфлете Энрико Малатесты «Разговор двух рабочих», классическом манифесте анархизма девяностых годов, – что каждый кусок хлеба, который они едят, отнят у ваших детей и каждый подарок, который они преподносят своим женам, для вас означает нищету, голод, холод и, может быть, даже проституцию?»

Анархисты плохо разбирались в экономических отношениях, но люто ненавидели правящий класс. Они ненавидели «всех мучителей человечества»<sup>11</sup>, как писал Бакунин, «попов, самодержцев, сановников, солдат, чиновников, банкиров, капиталистов, ростовщиков, законников». Для трудящихся врагом был не абстрактный и далекий богач, а близкий и зримый помещик, фабрикант, босс, полицейский.

Ненависть питали все, но лишь немногие становились бунтовщиками. Большинство пребывало в апатичном состоянии, отупев от бедности. Некоторые не выдерживали. Одна работница спичечной фабрики, растившая четверых детей, выбросилась из окна. Ей платили четыре с половиной цента за один гросс спичечных коробков (двенадцать дюжин), и она собирала эти коробки, не разгибая спины, по четырнадцать часов в день, получая в общей сложности тридцать один с половиной цент. Одного молодого человека, потерявшего работу и выхаживавшего больную мать, мировой судья обвинил в попытке самоубийства. Жена начальника шлюза, вытянувшая его из реки, рассказывала на суде, как она «вытаскивала его, а он уползал обратно»<sup>12</sup>, пока какой-то рабочий не подоспел к ней на помощь. Когда мировой судья похвалил женщину за проявленное мужество и силу, аудитория расхохоталась, но очевидец по имени Джек Лондон написал потом: «Я же видел только юношу, упорно пытавшегося переползти порог между жизнью и смертью».

После провалов, постигших анархизм эпохи Бакунина, анархистская теория и практика еще больше оторвались от реальности. В девяностые годы его цели, всегда идеалистические, стали поистине утопическими, а призывы – призрачными. Анархисты пренебрежительно относились к лозунгам социалистов и тред-юнионистов, добивавшихся восьмичасового рабочего дня. «Восемь часов работы на хозяина – это тоже слишком много, – заявляла анархистская газета «Револют»<sup>13</sup>. – В нашем обществе плохо не то, что рабочий трудится десять, двенадцать или четырнадцать часов, а то, что у него есть хозяин».

Среди нового поколения вожаков анархизма самым выдающимся был князь Петр Кропоткин, по рождению аристократ, по профессии географ, а по призванию революционер. Сенсационный побег князя в 1876 году из мрачной Петропавловской крепости после двух лет заключения создал ему образ героя, который он поддерживал, живя в изгнании в Швейцарии, Франции и Англии и неустанно пропагандируя бунт.

Кропоткин верил в то, что все люди должны быть в равной мере свободны и счастливы. Как писал английский журналист Генри Невинсон, хорошо его знавший, князя настолько тревожило людское горе, что казалось, будто он «страстно желает прижать к груди все человечество и согреть его своим теплом»<sup>14</sup>. Все его лицо, обрамленное лысиной и густой бородой, све-

тилось добротой. У него было приземистое телосложение, «явно недостаточное для ношения крупной и массивной головы». Он происходил из древнего рода князей Смоленских, потомков Рюриковичей, правивших Россией до Романовых, и принадлежал к той части российского дворянства, которая стыдилась своей причастности к классу, веками угнетавшему народ.

Он родился в 1842 году. После службы в Сибири, где князь интенсивно занимался географическими исследованиями, Кропоткин стал секретарем географического общества и в 1871 году изучал ледники Финляндии и Швеции. В 1872 году он вступил в тайный революционный кружок, вел активную пропагандистскую деятельность среди рабочих, за что был арестован и заключен в Петропавловскую крепость. В 1876 году (год смерти Бакунина) Кропоткин совершил побег и уехал в Швейцарию, где вместе с Элизе Реклю, французским географом и анархистом, работал над составлением монументальной географии мира, написав раздел о Сибири. Вместе с Реклю он основал и три года редактировал «Револьтэ» («Бунтарь»), переименованную затем в Париже после гонений в «Револьт» («Бунт»), самую известную и жизнестойкую анархическую газету. Благодаря убедительным и страстным полемическим выступлениям, ореолу героя, бежавшего из заточения, активному сотрудничеству с анархистами Юрской федерации, из-за чего его выслали из Швейцарии, и княжескому титулу он стал признанным преемником Бакунина.

Во Франции, куда Кропоткин приехал в 1882 году, на традициях Коммуны выросло воинственное анархистское движение, в котором наибольшую активность проявляла его организация в Лионе. На рейд полиции анархисты ответили взрывом бомбы. Погиб один человек. Последовали арест и суд над пятьюдесятью двумя анархистами, среди которых оказался и Кропоткин. Их обвинили в принадлежности к международному союзу, поставившему себе цель уничтожить собственность, семью, государство и религию. Кропоткина приговорили к пяти годам лишения свободы, но он провел в тюрьме три года. Его помиловал президент Жюль Греви, и он с женой и дочерью эмигрировал в Англию, прибежище для всех политических изгнанников того времени.

Поселившись в Хаммерсмите, «спальном пригороде» Лондона, Кропоткин продолжал печатать пламенные призывы к насильственному бунту в газете «Револьт» и писать научные статьи для географических изданий и журнала «Девятнадцатый век». Он охотно принимал у себя дома радикалов, изъясняясь с ними на пяти языках, писал картины и играл для гостей на фортепьяно, очаровывая всех добродушием и благородными манерами, выступал с речами в анархистском клубе в подвале на Тоттенхэм-Корт-роуд. «Своим мягкосердечием и ласковостью он напоминал святого, – писал Джордж Бернارد Шоу<sup>15</sup>, – или добродушного бородатого пастуха в Усладительных Горах»<sup>17</sup>. Единственным его недостатком была нетерпеливость: он предсказывал, что война начнется чуть ли не завтра-послезавтра. В некотором роде он был прав. В этом пророчестве проявлялся его оптимизм. Война классов для него означала разрушение старого мира и триумф анархии. «Галопирующий распад» государств<sup>16</sup> ускорял приближение триумфа. «Он не за горами, – писал Кропоткин. – Все способствует его приближению».

Этот приятный господин, одетый в черный сюртук викторианского джентльмена, был апостолом насилия. Стремление человека к совершенству, писал он, «сдерживается теми, кто заинтересован в сохранении существующих порядков»<sup>17</sup>. Прогресс невозможен без насильственного действия, благодаря которому «человечество свернет со старой колеи и пойдет вперед новыми дорогами... революция – безотлагательная необходимость». Бунтарский дух должна пробуждать в массах «пропаганда действием». Эту фразу, ставшую девизом анархистского насилия, впервые употребил французский социалист Поль Брусс в 1878 году, когда были

<sup>17</sup> Аллегория из романа Джона Беньяна «Путь паломника» (*Pilgrim's Progress*).

совершены четыре покушения на жизнь коронованных особ: два на Вильгельма I, германского императора, и по одному на королей Испании и Италии. «Идея вдохновляет<sup>18</sup>, – писал он, – и для этого нам нужна пропаганда действием. Грудь самодержца откроет нам дорогу к революции!»

На конгрессе анархистов, проходившем на следующий год в швейцарских горах, Кропоткин тоже говорил о пропаганде действием, правда, не столь прямолинейно. Он никогда не призывал к убийствам, но на протяжении восьмидесятих годов постоянно указывал на необходимость «пропаганды устным и письменным словом, кинжалом, ружьем и динамитом»<sup>19</sup>. Его статьи на страницах «Револьт» адресовались прежде всего «людям мужественным, готовым не только выступать с речами, но и действовать, честным натурам, предпочитающим тюрьму, ссылку и смерть существованию, противоречащему принципам, и знающим, что победа дается только тем, кто способен проявить отвагу»<sup>20</sup>. Эти люди должны сформировать передовой отряд революции еще до того, как к ней будут подготовлены массы, и, не обращая внимания на «разговоры, сетования и дискуссии», совершать практические «революционные действия».

«Одно практическое деяние, – писал Кропоткин, – дает больше пропагандистского эффекта, чем тысяча памфлетов»<sup>21</sup>. Слова «растворяются и пропадают в воздухе, как звон колоколов». Нужны конкретные действия, «возбуждающие ненависть к эксплуататорам, осмеивающие правителей и показывающие их слабость и всегда и в первую очередь пробуждающие дух восстания». Эти действия, к которым он призывал в теории, совершались, но не автором.

В девяностые годы Кропоткин, которому уже перевалило за пятьдесят, продолжал настаивать на необходимости бунта, но уже не верил с прежним энтузиазмом в эффективность индивидуального действия. Хотя «революционный дух возрастает в результате проявлений индивидуального героизма, – писал он в мартовском выпуске «Револьт» 1891 года<sup>22</sup>, «революции совершаются не героическими поступками отдельных лиц, а массами»: «Вековые институты власти нельзя уничтожить несколькими фунтами взрывчатки. Время для таких действий прошло, теперь надо заниматься распространением анархистских и коммунистических идей в массах».

В Лондоне, в одном из ресторанчиков Холборна во время забастовки шахтеров в 1893 году состоялся примечательный спор между Кропоткиным и двумя тред-юнионистами, Беном Тиллетом и Томом Манном. «Мы должны разрушать! Мы должны все снести! Мы должны избавиться от тиранов!» – кричал Том Манн.

«Нет, – отвечал ему Кропоткин, посматривая на собеседника сквозь очки профессорским взглядом, – мы должны созидать. Мы должны созидать в сердцах людей. Мы должны создавать царство Бога»<sup>23</sup>.

У него уже имелся проект создания такого царства<sup>24</sup>. После революции – на свержение правительств, уничтожение тюрем, крепостей и трущоб, экспроприацию земли, промышленности и всех форм собственности потребуется от трех до пяти лет – волонтеры проведут инвентаризацию всех продовольственных ресурсов, жилья и средств производства. Отпечатанные инвентарные ведомости будут розданы населению. Каждый получит то, что ему нужно, из ресурсов и средств, имеющихся в изобилии, остальное будет распределяться согласно нормированию. Собственность будет только общественная. Каждый может брать из общественного склада продукты и товары согласно потребностям и имеет право «самому решать, сколько еды и товаров ему необходимо для комфортной жизни». Поскольку исчезнет такой пережиток прошлого, как наследование, то исчезнет и жадность. Все трудоспособные мужчины в возрасте от двадцати одного года до сорока пяти – пятидесяти лет будут заключать «контракты» с обществом и работать пять часов в день, выбрав себе занятие по своему усмотрению. Общество будет обеспечивать их «жильем, магазинами, удобствами, коммунальными услугами, школами, музеями и пр.». Не будет никакой надобности в судах и наказаниях, поскольку люди будут

исполнять свои обязательства, испытывая потребность в «сотрудничестве, поддержке и симпатии» со стороны соседей. Система окажется действенной в силу ее разумности, хотя Кропоткин и сам, наверное, понимал, что разумность редко встречается в человеческих отношениях.

Бернард Шоу с присущим ему чувством здравого смысла обратил внимание на эту проблему в фабианском трактате «Невозможность анархизма» (*The Impossibilities of Anarchism*), опубликованном в 1893 году и несколько раз переиздававшимся в последующие десять лет<sup>25</sup>. Если человек хороший, а институты, его подавляющие, плохие, и он остается хорошим после исчезновения коррумпированной системы, его угнетавшей, то «откуда же появляются коррупционеры и угнетатели?»

Анархистский проект нового человеческого общежития страдал многими изъянами, но один из них досаждал анархистам больше всего: проблема оценки стоимости товаров и услуг и отчетности. Согласно теориям Прудона и Бакунина, каждый будет получать за свой труд в соответствии с объемом и качеством произведенной продукции. Но это предполагает создание оценочного органа, атрибута власти, неприемлемого для «чистого» анархизма. Кропоткин и Малатеста нашли выход из этого щекотливого положения, объяснив, что каждый будет работать ради всеобщего блага, а поскольку всякий труд будет считаться приятным и достойным, то все будут трудиться добровольно и удовлетворять свои потребности из общего склада, для чего не понадобится ни оценка стоимости, ни отчетность.

Кропоткин выдвинул теорию «взаимопомощи», желая доказать научную обоснованность анархизма законами природы. Он считал, что буржуазные теоретики извратили концепцию Дарвина. В природе главенствуют не клыки и когти и не борьба за выживание, а инстинкты самосохранения на основе «взаимопомощи». Он приводил в пример термитов и пчел, а также диких животных, сплывающихся, когда возникает опасность, ссылаясь на общинный характер жизни людей в Средневековье. Кропоткин восхищался кроликами, беззащитными, но живучими и плодовитыми. Кролики символизировали жизнестойкость кротости, которая, согласно Экклезиасту, наследует землю.

Хотя Кропоткин желал гибели буржуазному миру, этот мир почитал его. Как-никак он был выдающимся ученым и к тому же аристократом. Князь отказался от членства Королевского географического общества, поскольку его патроном был король, но общество тем не менее приглашало его на званые обеды<sup>26</sup>. Кропоткин продолжал сидеть, когда председатель провозгласил тост «За короля!» и все вскочили как по команде. Тогда председатель снова встал, объявив «Да здравствует князь Кропоткин!», и вся компания поднялась, чувствуя имени гостя. Когда он в 1901 году ездил в Соединенные Штаты и выступал с лекциями в бостонском Институте Лоуэлла, с ним жаждала пообщаться вся интеллектуальная элита и его даже принимала у себя дома миссис Поттер Палмер в Чикаго. Журнал «Атлантик мансли» взялся опубликовать мемуары Кропоткина, его книги печатались крупнейшими издательствами. Когда вышла в свет его «Взаимопомощь как фактор эволюции», журнал «Ревью оф ревьюз» назвал книгу «поучительно жизнелюбивым и светлым произведением, читать которое одно удовольствие».

Помимо русского князя Кропоткина, большую активность проявляли теоретики анархизма во Франции. Среди них были и серьезные, и довольно легкомысленные идеологи, но признанными лидерами считались Элизе Реклю и Жан Грав. Темноволосый, бородатый и меланхоличный Реклю, чье иконописное лицо напоминало византийского Иисуса Христа, исполнял роль оракула и пророка. Он сражался на баррикадах Коммуны и хорошо запомнил пыльную и политую кровью дорогу, по которой его вели в тюрьму Версаля. Реклю происходил из блистательной академической семьи, сам стал выдающимся географом и географические исследования успешно совмещал с распространением идей анархизма в книгах, журналах и газетах, совместно издававшихся в разное время и с Кропоткиным, и с Гравом. Он читал лекции в Новом университете Брюсселя, одно время возглавлял кафедру географии и, по отзывам,

производил на слушателей неизгладимое впечатление, «завораживая неотразимым магнетизмом»<sup>27</sup>. Возможно, изучая Землю, он и задумался над судьбой человека, веря, подобно Руссо, в его «природную добродетельность, которая высвободится, как только общество избавится от пороков и насилия».

Грав же родился в рабочей семье, трудился сапожником, а затем, подобно Прудону, наборщиком и печатником в типографии, а в восьмидесятые годы занимался изготовлением гремучей ртути для того, чтобы взорвать префектуру полиции или Бурбонский дворец, где заседал французский парламент. За книгу «Умиряющее общество и анархия», в которой содержались призывы к свержению государственного строя и конкретные зловередные предложения, он провел два года в тюрьме. В заключении он написал вторую книгу – «Общество после революции» – и сам отпечатал и издал ее после освобождения. Она была настолько утопической, что власти не усмотрели в ней серьезной угрозы. На чердаке пятого этажа дома на пролетарской улице Муффетар он редактировал, писал статьи и печатал на ручном станке газету «Револьт» и сочинял фундаментальный труд «Освободительное движение в Третьей республике» (*Le Mouvement libertaire sous la troisième république*). В этой комнате с одним столом и двумя стульями и жил Жан Грав, неизменно одетый в черную рабочую блузу, в окружении памфлетов и газет, «неприметный, молчаливый, но неутомимый» человек<sup>28</sup>, настолько поглощенный своими мыслями и делами, что «походил на отшельника из Средневековья, забывшего помереть восемьсот лет назад».

Последователи анархизма не объединялись в организованную партию, они создавали небольшие местные клубы и группы. Они обычно обменивались записками, информирующими, например, о том, что «анархисты Марселя сформировали группу под названием «Мстители и голодающие», которая будет собираться каждое воскресенье по такому-то адресу: «Товарищи и их надежные друзья приглашаются участвовать в дискуссии». Такие группы действовали не только в Париже, но и в большинстве крупных городов и во многих малых городках. Среди них были, к примеру, такие организации, как «Непокорные» в Арментьере, «Подневольный труд» в Лилле, «Всегда готовы» – в Блуа, «Земля и воля» – в Нанте, «Динамит» – в Лионе, «Антипатриоты» – в Шарлевиле. Объединяясь с аналогичными группами в других странах, они иногда проводили конгрессы – например, в Чикаго в 1893 году, во время Всемирной выставки, но никогда не вступали в союзы или ассоциации.

Главным подстрекателем и заводилой в анархистском движении был Энрико Малатеста, итальянец<sup>29</sup>. Он оказывал воспламеняющее воздействие на анархистов всюду, куда бы ни приезжал. Малатеста был на десять лет моложе Кропоткина и выглядел как романтик-бандит, подружившийся с графом Монте-Кристо. Он родился в состоятельной буржуазной семье и получал медицинское образование в Неаполитанском университете, но был отчислен за участие в студенческом бунте во время Парижской коммуны. Впоследствии он освоил профессию электрика, вступил в итальянскую секцию Интернационала, заняв сторону Бакунина в борьбе с Марксом, возглавил неудавшееся крестьянское восстание в Апулии, за что оказался в тюрьме, а потом в изгнании. Затем Малатеста безуспешно пытался изменить цели всеобщей забастовки в Бельгии в 1891 году, которая проводилась под лозунгом борьбы за избирательное право для всех взрослых мужчин: он считал, что выборы являются всего лишь очередной миной-ловушкой буржуазного государства. Его изгоняли за революционную деятельность то из одной страны, то из другой и наконец заточили на пять лет на тюремном острове Лампедуза, откуда он сбежал на гребной лодке во время шторма. Из заключения в Италии Малатеста бежал в ящике для «швейных машин», который погрузили на пароход, уходивший в Аргентину. Там он надеялся добыть золото в Патагонии для революции. Он действительно нашел золото, но его заявку конфисковало аргентинское правительство.

Малатесту иногда обвиняли в отступлении от «чистого» анархизма и даже в марксистских наклонностях. Из-за этого в него стрелял итальянский коллега-анархист, представитель радикального крыла *anti-organizzatori*. Но вне зависимости от того, сколько неудач ему пришлось пережить, Малатеста всегда был в деле, в тюрьме или в бегах из тюрьмы, в изгнании, без дома и собственной крыши над головой, всегда, как говорил Кропоткин, готовый «возобновить борьбу с той же любовью к человеку, с тем же презрением к врагам и тюремщикам»<sup>30</sup>.

Этим людям был присущ незаурядный оптимизм. Они были убеждены в том, что анархизм в силу своей правоты восторжествует над загнивающей капиталистической системой, и мистически связывали это событие с концом столетия. «Все ждут рождения нового порядка вещей»<sup>31</sup>, – писал Реклю. – Столетие, принесшее столь много величайших открытий в мире науки, не может закончиться без еще более грандиозных достижений. Познав вражду и ненависть, мы должны научиться любить друга и для этого уничтожить частную собственность и всевластие закона».

Мудрый Кропоткин повсюду видел признаки нарождающегося нового мира. Увеличение числа бесплатных музеев, библиотек, парков, по его мнению, свидетельствовало о приближении торжества анархизма, когда вся частная собственность станет общественной. Действительно, разве нельзя обойтись без платных дорожных застав и шлагбаумов? Разве не могут муниципалитеты бесплатно подавать воду и освещать улицы? Доказательством правоты анархической идеи общества, в котором руководящей силой является не правительство, а «свободная ассоциация людей», служит пример деятельности Международного Красного Креста, профсоюзов и даже судостроительных и железнодорожных картелей (осуждавшихся как «трасты» реформаторами другого типа в Америке).

По замыслу Кропоткина, Малатесты, Жана Грва и Реклю, анархизм в конце столетия «засияет в своем нравственном величии»<sup>32</sup>, но для этого потребуются оторваться от действительности. Все они прошли через тюрьмы за свои убеждения. Кропоткин лишился зубов из-за цинги в тюрьме. О них не скажешь, что они жили в «башне из слоновой кости», хотя в их головах и складывались иллюзорные представления. Они могли создавать в воображении проекты государства всеобщей гармонии, сознательно игнорируя реальности человеческого поведения и уроки истории. Их настойчивое стремление к революции основывалось на вере в природное добронравие человека, которого надо только увлечь примером и подтолкнуть к тому, чтобы пойти по дороге, ведущей в «золотой век». Они заявляли о своей вере громко и упорно. Последствия зачастую были плачевные и трагические.

Анархизм эры насилия начался во Франции сразу же после празднования столетия Французской революции. Два года длился террор, насаждавшийся динамитом, ножом и пистолетом, убивавший людей и простых и знатных, уничтожавший собственность и порождаящий страх. Сигнал подал в 1892 году человек, чье имя, Равашоль, казалось, символизировало «бунт и ненависть»<sup>33</sup>. Акт, совершенный им, как и другие подобные деяния, был вызван мщением за товарищей, пострадавших от государства.

В день 1 мая 1891 года на демонстрацию рабочих в Клиши, пролетарском пригороде Парижа, возглавлявшуюся *les anarchos* с красными флагами и революционными лозунгами, напала конная полиция. В завязавшейся схватке пятеро полицейских получили легкие и трое анархистских вожаков – тяжелые ранения. Анархистов арестовали и истекавших кровью подвергли *passage à tabac*, зверскому избиению между двумя рядами полицейских, наносивших им удары чем попало, в том числе и револьверами. На суде обвинитель Бюло утверждал, что один из них накануне призывал рабочих вооружаться и наставлял: «Если появится полиция, не бойтесь и убивайте их как собак! Долой правительство! *Vive la révolution!*» Бюло потребовал смертной казни для всей троицы, чего ему, очевидно, не следовало делать, поскольку убийств

не было. Месье Бенуа, председатель суда, одного обвиняемого оправдал, а двоих приговорил к пяти и трем годам тюремного заключения, максимально возможным срокам в подобных обстоятельствах.

Через шесть месяцев после суда бомбой был взорван дом месье Бенуа на бульваре Сен-Жермен. Спустя две недели, 27 марта, взорвалась бомба, подложенная в дом Бюло, обвинителя, на улице Клиши. Полиция распространила описание подозреваемого преступника: худощавый, но мускулистый молодой человек в возрасте чуть более двадцати лет, скуластый, бородастый, имеющий нездоровый желтый цвет лица и шрам между большим и указательным пальцем левой руки. В день второго взрыва мужчина с такой внешностью обедал в ресторанчике «Вер» на бульваре Мажента и обсуждал с официантом по имени Жюль Леро происшествие, о котором еще никто не знал. К тому же он высказывал антивоенные и анархистские взгляды. Леро настоялся, но не предпринял никаких действий. Через два дня мужчина пришел снова, и на этот раз официант, заметив шрам на руке, вызвал полицию. Когда полицейские прибыли, худощавый молодой человек вдруг превратился в гиганта, обладавшего огромной силой, и потребовалось десять человек и немало времени для того, чтобы его скрутить и арестовать.

Это и был Равашоль. Он взял себе имя матери, а не отца Кенигштейна, который бросил жену и четверых детей, оставив семью на попечении восьмилетнего Равашоля. В возрасте восемнадцати лет, начитавшись «Вечного жида» Эжена Сю, он разуверился в религии, увлекся анархическими сантиментами, посещал собрания анархистов, и в результате его вместе с младшим братом уволили с работы в мастерской красильщика. Тем временем умерла младшая сестра, а другая сестра родила внебрачного ребенка. Хотя Равашолю удавалось находить работу, денег не хватало для того, чтобы выволить семью из нищеты. Ему пришлось прибегать к дополнительным, по обыкновению противозаконным источникам дохода и находить для этого моральные обоснования. Бедный вправе грабить богатого, чтобы не «вести животный образ жизни, – говорил он в тюрьме. – Умирать с голода – позор и трусость. Я предпочитаю воровать, мошенничать и убивать». Он действительно делал и то, и другое, и третье и к тому же стал первоклассным грабителем.

На суде 26 апреля 1892 года Равашоль заявил, что им двигало желание отомстить за анархистов Клиши, которых полицейские не просто избили, но даже «не дали воды, чтобы обмыть раны», а Бюло и Бенуа вынесли им максимальное наказание, хотя присяжные настаивали на минимуме. Он держался стойко, и в его взгляде сквозила глубокая внутренняя убежденность. «Я поставил себе цель прибегнуть к террору, чтобы заставить общество обратить внимание на тех, кто страдает», – говорил Равашоль. Хотя пресса изображала его отъявленным и коварным злодеем, «зверем, наделенным колоссальной силой», свидетели подтверждали, что он дал деньги жене одного из осужденных анархистов Клиши и купил одежду для ее детей. Суд длился всего лишь один день, и его приговорили к пожизненной каторге. Но у Равашоля появились последователи.

Официант Леро приобрел героическую известность, услаждал посетителей и журналистов историями о «шраме, узнавании и аресте». В результате он привлек к себе внимание анонимного мстителя, взорвавшего в ресторане «Вер» бомбу, убившую, правда, не Леро, а его шурина месье Вер, владельца заведения. Анархистский журнал «Пер-Пенар», сообщая об этом происшествии, сопроводил текст дьявольским каламбуром – *Verification!* («Проверка!»)

К тому времени полиция раскрыла целую серию преступлений Равашоля, включая жуткое ограбление трупа (снял с него драгоценности) и несколько убийств: 92-летнего скряги и его экономки, двух старух, содержавших лавку скобяных изделий (он раздобыл у них сорок су), и еще одного лавочника (не нашел ни одного су). «Видите эту руку? – будто бы говорил он. – Ею убито столько буржуев, сколько на ней пальцев». Убивая и грабя, в остальном он вел обывательский образ жизни, учил читать маленькую дочь своего хозяина.

Судебный процесс в отношении этих убийств открылся 21 июня в атмосфере страха, посеянного взрывом бомбы мстителя в ресторане «Вери». Все ждали, что террористы взорвут Дворец правосудия. Он был окружен войсками, у дверей стояли стражники, судей, присяжных и советников сопровождали полицейские. Выслушав приговор к смертной казни, Равашоль заявил, что он совершил свои деяния во имя «идей анархизма», добавив: «Я знаю, что буду отомщен».

Столкнувшись с незаурядным случаем, в котором смешались действия криминального монстра и мстителя – защитника обездоленного и несчастного человека, анархистская пресса разделилась во мнениях. Кропоткин в газете «Револьт» осудил поступок Равашоля как «не подлинно, не истинно революционный» и занес его в разряд *opéra-bouffe*. Такие поступки, писал он, не имеют никакого отношения к «неустанным повседневным приготовлениям, незаметным, но исключительно важным для революции»: «Ей нужны другие люди, не Равашоли. Подобные деяния пусть вершит буржуазия *fin de siècle*, из которой они и произрастают». Малатеста в литературном журнале анархистов «л'Ан Деор» («Наружу») тоже отмежевался от поступка Равашоля<sup>34</sup>.

Трудность заключалась в том, что Равашоль принадлежал к классу эго-анархистов, состоявшему из одного серьезного теоретика – немца Макса Штирнера и сотни энтузиастов, практикующих *culte de moi* («культ собственного я»). Они пренебрегали буржуазными ценностями и общественными регламентами, признавая лишь право индивида «вести анархистский образ жизни», включая грабеж и любое другое правонарушение, отвечающее потребностям момента. Их интересовала лишь собственная персона, а не революция. Необузданная вольная деятельность этих «Борджей в миниатюре»<sup>35</sup> обычно заканчивалась вооруженными схватками с полицией, украшалась лозунгами «анархии» и вызывала страх и злость публики, которая не могла различить, где подлинник, а где суррогат. Равашоль олицетворял и то и другое. Он испытывал и подлинные чувства жалости и сочувствия к угнетенным собратьям своего класса, потому одна анархистская газета осмелилась сравнить его с Иисусом Христом.

11 июля Равашоль, хладнокровный и несколько не раскаявшийся, пошел на гильотину, крикнув на прощание *Vive l'anarchie!* Все сомнения были сняты. В одночасье он стал анархистом-мучеником, а для низших классов – народным героем. Газета «Револьт» переменяла свое мнение, воскликнув: «Он будет отомщен!» Журнал «л'Ан Деор» объявил сбор средств для детей сообщника, осужденного вместе с Равашолем. Среди тех, кто внес пожертвования, были художник Камиль Писсаро, драматург Тристан Бернар, бельгийский социалист и поэт Эмиль Верхарн и Бернар Лазар (который вскоре станет одним из действующих лиц в драме Дрейфуса). Вошло в обиход выражение «равашолизировать», то есть «уничтожить врага», а на улицах начали распевать песню «Равашоля» на мотив «Карманьолы»:

День придет, день придет,  
И каждый буржуй свою бомбу найдет<sup>18</sup>.

Равашоля сделала знаменитым не бомба, а казнь. Между тем террор перекинулся через Атлантику.

В сексе анархисты отвергали любые формы власти так же, как и в других сферах человеческой жизни. Это наглядно иллюстрирует история любви в Америке, в Нью-Йорке, оказавшая непреходящее влияние на движение. Она началась в 1890 году на митинге, посвященном памяти жертв Хеймаркета, на котором выступал немецкий изгнанник Иоганн Мост с изуро-

<sup>18</sup> It will come, it will come, Every bourgeois will have his bomb.

дованным лицом и деформированным телом, редактор анархистского еженедельника «Фрайхайт».

Несчастливое детство, трагический случай, обезобразивший лицо, нищенская юность, когда ему приходилось мыкаться в поисках заработка и голодать, – все это породило озлобленность и ненависть к обществу. В нем эти качества нарастали с ожесточенностью и цепкостью сорняков. В Германии он приобрел профессию переплетчика, писал гневные статьи для революционной прессы и даже прослужил один срок депутатом рейхстага в семидесятых годах. Изгнанный из страны за революционные призывы, Иоганн Мост вначале обосновался в Англии, где пристрастился к анархизму, основал журнал, в котором изливал желчь и приветствовал царевубийство в России в 1881 году с таким энтузиазмом, что его заключили в тюрьму на восемнадцать месяцев. Пребывая все еще в узилище, он так же горячо аплодировал убийцам лорда Фредерика Кавендиша в Дублине, что традиционное терпение английских властей наконец лопнуло. «Фрайхайт» закрыли, а Мост после освобождения вместе с газетой и страстями переместился в Соединенные Штаты.

Но и в Америке Мост продолжал печатать бунтарские воззвания. Публикации в газете «Фрайхайт» один читатель сравнил с «потоками лавы, извергающими сарказм, злобу, ненависть... и возбуждающими дух мятежа и неповиновения». Поработав какое-то время на заводе взрывчатки в Джерси, Мост опубликовал руководство по изготовлению бомб, а на страницах «Фрайхайт» разъяснял, как пользоваться динамитом и нитроглицерином. Его целью, как он сам говорил, по-прежнему было готовить человека к разрушению «существующего порядка» неустанным революционным действием. Большинство людей не придают никакого значения восьмичасовому рабочему дню. Если же проблема восьмичасового рабочего дня, эта, по его выражению, «чертова канитель», будет решена, то нововведение послужит ширмой, отвлекающей массы от главной задачи: борьбы против капитализма за построение справедливого общества.

В 1890 году Мосту исполнилось сорок четыре года. Он был среднего роста, густая и уже седеющая шевелюра венчала массивную голову, нижнюю часть которой уродовала смещенная влево челюсть. Он говорил настолько резко, злобно и страстно, что люди забывали о его безобразной внешности. Одной женщине на митинге его голубые глаза показались «привлекательными», и она почувствовала, как от него «исходит не только ненависть, но и любовь».

Эмме Гольдман, еврейке, недавно эмигрировавшей из России, шел тогда двадцать второй год. Она отличалась бунтарством и легко возбудимой натурой, и Мост ей очень понравился. Ее сопровождал Александр Беркман, тоже русский еврей, но живший в Соединенных Штатах уже почти три года. Гонения в России и бедность в Соединенных Штатах пробудили в них горячие революционные чувства. Анархизм стал их кредо. В Америке Эмма вначале работала швеей на фабрике, трудилась по десять с половиной часов в день и получала за это два с половиной доллара в неделю. Комнату она снимала за три доллара в месяц. Беркман происходил из более зажиточной семьи, которая могла платить слугам и отправить его в гимназию. Но на них навалились экономические невзгоды; любимого дядю с революционными наклонностями арестовали жандармы, и они его больше никогда не видели; Сашу (Александра) исключили из школы за нигилистские и атеистические сочинения. Теперь ему было двадцать лет, он обладал «шеей и грудью гиганта», высоким умным лбом, интеллигентной внешностью и суровым взглядом. После «страшных переживаний» от грозных речей Моста Эмма нашла «успокоение» в объятиях Саши, а впоследствии повышенная возбудимость привела ее и в объятия Моста. Их мирное сосуществование ничем не отличалось от аналогичных буржуазных тройственных альянсов.

В июне 1892 года забастовал профсоюз сталелитейщиков в Хомстеде штата Пенсильвания, протестуя против снижения зарплат владельцами сталелитейного завода Карнеги. Компания урезала зарплаты, стремясь задавить профсоюз, и, предвидя неизбежные схватки, распо-

рядилась соорудить крепостной забор с колючей проволокой, ограждавший цеха, где должны были работать штрейкбрехеры, нанятые агентством Пинкертона. Филантроп Эндрю Карнеги благоразумно уехал на лето ловить лосося в Шотландии, поручив управляющему Генри Клею Фрику бороться с союзом рабочих. Трудно было найти менее компетентного и подходящего для этого человека. Необычайно благовидный мужчина сорока трех лет с черными усами и такой же черной бородкой, сдержанными манерами и взглядом, который мог внезапно приобрести «стальное выражение», происходил из весьма состоятельной пенсильванской семьи. На нем всегда был дорогой темно-синий костюм в полоску, он не признавал украшений и однажды, страшно возмущившись карикатурой, напечатанной в питсбургской газете «Лидер», приказал секретарю: «Это недопустимо. Это совершенно непозволительно. Узнайте, кто владеет газетой, и купите ее».

5 июля предстояло привезти штрейкбрехеров, нанятых Фриком. Когда их на бронированных баржах доставили через реку Мононгахела и уже собрались высаживать, забастовщики напали на них, обстреливая из самодельной пушки, ружей, взрывая динамит и поливая горячей смолой. В схватке погибли десять человек, несколько человек получили ранения, но истекающим кровью и одержавшим победу рабочим удалось прогнать из завода пинкертонов. Губернатор Пенсильвании выслал восьмидесятичное войско милиции, вся округа была взбуждена, а Фрик, пренебрегая смертями и протестами, выпустил ультиматум, заявив об отказе вести переговоры с профсоюзом и пригрозив уволить и выселить из домов всех, кто не вернется к своим рабочим местам.

«Хомстед! Я должен быть в Хомстеде!» – вскричал Беркман, когда Эмма пришла с газетой в руке. Наступил долгожданный «психологический момент для действия... Вся страна поднялась против Фрика, и удар, нанесенный ему, привлечет внимание всего мира». Рабочие бастуют не только ради себя, но и «во имя будущего, свободы, торжества анархизма», хотя сами сталелитейщики, конечно, даже и не догадывались об этом. Пока они действуют «в мятежном ослеплении», но Беркман придаст их борьбе новый смысл, «обогатит идеями анархизма, которые привнесут в мятеж революционное содержание». Избавление от тирана – оправданный акт борьбы «за свободу, лучшую жизнь и новые возможности для угнетенного народа». «Величайший долг» и «испытание для каждого революционера» – умереть за эти благородные цели.

Беркман поездом приедет в Питсбург и убьет Фрика, но доживет до того времени, когда «докажет на суде правоту своего деяния». А потом, уже в тюрьме, он «умрет по своей воле, как Лингг».

23 июля он действительно появился в офисе Фрика, предъявив визитную карточку, на которой значилось: «Агент по занятости. Нью-Йорк». Фрик в это время разговаривал с вице-президентом Джоном Лейшманом. Беркман вынул револьвер и выстрелил. Первая пуля ранила Фрика в шею с левой стороны. Он выстрелил снова и ранил управляющего в шею с правой стороны. Когда Беркман стрелял в третий раз, Лейшман успел ударить по руке, и тот промахнулся. Фрик, истекая кровью, поднялся и накинулся на Беркмана вместе с Лейшманом, анархист упал, увлекая за собой обоих. Он все же смог освободить одну руку, вынуть из кармана кинжал и семь раз ударить Фрика, прежде чем его оттащили подоспевшие полицейские с помощником шерифа<sup>36</sup>.

«Дайте мне взглянуть на его лицо», – шепотом попросил Фрик, побледневший и окровавленный. Шериф вздернул голову Беркмана за волосы, и Фрик посмотрел в глаза своему палачу. В полицейском участке на теле Беркмана (по другим сведениям, во рту) нашли две капсулы гремучей ртути, точно такие же, какие использовал Лингг, чтобы подорвать себя. Фрик выжил, милиция подавила забастовку, а Беркмана отправили в тюрьму на шестнадцать лет.

Страна долго не могла успокоиться. Шокирована была не только общественность. Анархистов хватил столбняк, когда Иоганн Мост, проповедник насилия, порвав с прошлыми убеждениями, 27 августа опубликовал в газете «Фрайхайт» статью, осуждавшую попытку Беркмана

совершить тираноубийство. Он заявил, что эффективность террористического действия преувеличена, что оно не в состоянии возбудить восстание в стране, где отсутствует пролетарское классовое самосознание, и с пренебрежением отозвался о поступке Беркмана, которого анархисты теперь считали героем. Когда Иоганн Мост повторил те же слова на собрании, в публике поднялась разъяренная женская фигура. Это была Эмма Гольдман. С кнутом в руках она взошла на трибуну и отхлестала своего бывшего любовника. Скандал был грандиозный.

Без сомнения, в поведении Иоганна Моста и Эммы сыграли свою роль эмоции. Мост последовал примеру Кропоткина и Малатесты, которые после акций Равашоля разуверились в эффективности насилия. Но верный долгу идеалист Беркман радикально отличался от разбойника Равашоля, и желчный Мост завидовал сопернику, более молодому и страстному как в любви, так и в революционном движении. Его нападки на коллегу-анархиста, готового отдать жизнь за дело революции, означали предательство, которое негативно сказалось на дальнейшей судьбе анархизма в Америке.

Об этом, естественно, ничего не знала общественность: она следила лишь за акциями анархистов, *attentats*<sup>19</sup>, как называли их французы. С каждой новой акцией в обществе нарастал страх перед таинственной убийственной силой, таящейся в его недрах. Через год после событий в Хомстеде этот страх снова дал о себе знать, когда губернатор Джон П. Альтгельд из Иллинойса помиловал троих узников Хеймаркета<sup>37</sup>. Жесткий и вспыльчивый политик, Альтгельд, рожденный в Германии и привезенный в Соединенные Штаты трехмесячным ребенком, прожил тяжелую жизнь и познал тяготы физического труда. Он сражался в гражданской войне, когда ему было шестнадцать лет, изучал право, занимал должности атторнея штата, судьи, стал губернатором, разбогател на продаже недвижимости, но всегда оставался убежденным либералом. Сразу же после вступления в должность губернатор пообещал восстановить справедливость. Возможно, им отчасти руководила и неприязнь к судье Гэри. Став губернатором, Альтгельд поручил проверить материалы судебного процесса и 26 июня 1893 года вынес решение о помиловании, сопроводив его документом из 18 000 слов, подтверждавшим противозаконность приговора. В нем доказывалось, что состав присяжных был специально подобран для вынесения обвинительного приговора, судья предубежденно относился к обвиняемым и не мог беспристрастно вести процесс и атторней штата признал, что по крайней мере против одного обвиняемого не имелось достаточных улик. Все эти факты, безусловно, были известны, в период между вынесением приговора и повешением многие видные граждане Чикаго, обеспокоенные суровостью приговора, настойчиво пытались добиться помилования, и благодаря их усилиям была спасена жизнь троим обвиняемым. Но когда Альтгельд публично продемонстрировал дьявольский характер существующей системы правосудия, он поколебал веру людей в фундаментальные институты – столпы общества. Если бы он помиловал анархистов, простив их за содеянное, то это не вызвало бы никаких претензий. Но он сделал это таким образом, что вызвал на себя гнев прессы, священников и очень важных персон различного толка. Торонтская газета «Блейд» заявила, что он «низвергает цивилизацию». А нью-йоркская «Сан» изложила свое возмущение в стихах:

О дикий Чикаго...  
Воздень виновные, слабые руки  
Из развалин штатов, повергнутых в прах,  
И средь павших города башен  
Напиши АЛЬТГЕЛЬД на вратах!<sup>20</sup>

<sup>19</sup> Покушения (*фр.*).

<sup>20</sup> Oh wild Chicago...Lift up your weak and guilty handsFrom out the wreck of statesAnd as the crumbling towers fall down,Write ALTGELD on your gates!

Альтгельд потерпел поражение на очередных выборах. И хотя наверняка были и иные причины, он никогда больше не занимал высокий пост и умер в возрасте пятидесяти пяти лет в 1902 году.

Одновременно с этими событиями эра динамита началась и в Испании. Она возгоралась с еще большей жестокостью и свирепостью, характеризовалась еще более жуткими эксцессами и длилась дольше, чем в других странах. Испанцы всегда отличались склонностью к проявлению безумной отваги и пристрастием к трагическому образу жизни. Их горы обнажены, соборы погружены во мрак, реки летом пересыхают, а один из великих испанских королей еще при жизни построил для себя мавзолей. Самый любимый спорт у них – не игра и не состязание, а опасный и кровавый ритуал. Особое свойство испанской души передала низложенная королева Изабелла II. Посетив родину в 1890 году, она написала дочери: «Мадрид печален, и все здесь кажется еще более странным, чем прежде»<sup>38</sup>.

Для Испании было естественным то, что борьба титанов Маркса и Бакунина за руководство рабочим классом закончилась победой анархизма. В Испании, однако, где все приобретает более серьезный характер, анархисты проявили больше организованности и продержались дольше, чем в какой-либо другой стране. Как и Россия, Испания была котлом, в котором революция закипала под тяжелой крышкой гнета. Церковь, лендлорды, *Guardia Civil*, все стражи государства не давали этой крышке сорваться с места. Хотя в Испании действовали кортесы и существовала видимость демократического процесса, рабочий класс не располагал легальными средствами для навязывания реформ и каких-либо перемен, как во Франции или в Англии. В результате анархистские настроения были сильнее и взрывоопаснее. В отличие от «чистого» анархизма, его испанская разновидность была коллективистской и никакой другой она просто не могла быть в силу обстоятельств. Гнет был слишком тяжелый и исключал малейшую возможность для индивидуальных акций.

В январе 1892 года вспыхнул бунт, вызвавший, как и первомайское восстание в Клиши, цепную реакцию возмездия. Аграрный мятеж всегда назревал на юге, где огромные латифундии отсутствующих лендлордов обрабатывались крестьянами, трудившимися целый день за буханку хлеба. Теперь четыреста крестьян, взяв в руки вилы, косы и кустарное огнестрельное оружие, двинулись в деревню Херес-де-Фронтера в Андалусии. Они требовали освободить пятерых товарищей, приговоренных к пожизненному заключению в кандалах за участие в трудовом конфликте десять лет назад. Армия подавила восстание, и четверых вожakov казнили на гарроте – чисто испанским способом умерщвления, когда жертву привязывают спиной к столбу, а палач душит его удавкой, стоя позади и затягивая ее деревянной рукояткой. Сарсуэла, один из казненных, успел перед смертью крикнуть: «Отомстите за нас!»

Опорой испанского правительства был генерал Мартинес де Кампос, железной рукой восстановивший монархию в 1874 году. После этого он нанес поражение карлистам, подавил восстание на Кубе, исполнял обязанности премьер-министра и военного министра. 24 сентября 1893 года генерал принимал парад войск в Барселоне. Из переднего ряда вдруг в него полетела одна бомба, а потом и вторая. Их бросил анархист по имени Пальяс, помогавший Малатесте в Аргентине<sup>39</sup>. От взрыва бомб погибли пятеро зевак, один солдат и лошадь генерала, но жертва покушения отделалась синяками, оказавшись под лошадь. Пальяс говорил с гордостью, что собирался убить генерала и «весь его штаб». Когда военный трибунал приговорил его к смертной казни, он воскликнул: «Замечательно! Тысячи людей продолжают начатое мною дело». Ему разрешили попрощаться с детьми, но почему-то запретили увидеться с женой и матерью. Его расстреливали в спину, тоже сугубо испанский обычай, и он тоже успел крикнуть: «Мсть будет ужасной!»

И возмездие вскоре свершилось, в столице Каталонии, самое страшное и кровавое деяние анархистов. 8 ноября 1893 года, почти в годовщину со дня повешения жертв Хеймаркета, открывался оперный сезон в «Театро Лисео», и публика в вечерних нарядах слушала «Вильгельма Телля». Внезапно с балкона в партер полетели две бомбы. Одна сразу же взорвалась, убив пятнадцать человек, другая – лежала на полу, готовая взорваться в любой момент. Поднялась невероятная паника, люди в ужасе ринулись к выходам, пихая и расталкивая друг друга, «как дикие звери», подминая и стариков и женщин. Когда раненых унесли, на улице собралась толпа, согласно описанию репортера, осыпавшая ругательствами как анархистов, так и полицию. От ран умерли еще семь человек. Общий итог жертв: двадцать два убитых и пятьдесят раненых<sup>40</sup>.

Правительство ответило свирепыми репрессиями. Полиция устроила обыски во всех известных клубах, домах и местах собраний оппозиционеров. Тысячи людей были арестованы и заточены в камерах тюрьмы-крепости Монжуик, мрачный силуэт которой постоянно темнел на высоте семисот футов над уровнем моря на виду у всего города. Ее пушки всегда были направлены в сторону вечно мятежной Барселоны. Крепостных темниц не хватало, и многих узников разместили на военных кораблях, стоявших внизу на якорях. Поскольку трудно было найти виновных в гибели столь многих людей, то пытали всех, чтобы добиться признаний. Узников жгли раскаленными прутьями, стегали кнутами, заставляя идти без отдыха тридцать, сорок и пятьдесят часов подряд, применяли другие изощренные методы пыток, которыми славились страна великой инквизиции. Власти все-таки при помощи пыток получили необходимую информацию и в январе 1894 года арестовали анархиста по имени Сантьяго Сальвадор, который признал, что бросил бомбы в Оперном театре, мстя за Пальяса. На его арест анархисты Барселоны ответили взрывом бомбы, убившей двоих ни в чем не повинных людей. Правительство, в свою очередь, в апреле приговорило к смертной казни семерых узников крепости Монжуик, добившись от них под пытками неких признаний<sup>41</sup>. Сальвадора, безуспешно пытавшегося покончить с собой при помощи револьвера и яда, судили в июле и казнили в ноябре.

Жуткая расправа в Оперном театре в Испании напугала власти в других странах. В Англии наконец засомневались в том, что надо позволять анархистам свободно толковать и распространять свои доктрины. Когда анархисты собрались на традиционный митинг в память о жертвах Хеймаркета, в парламенте подвергли критике поведение либерала министра внутренних дел Асквита, разрешившего проведение этого мероприятия. Мистер Асквит сослался на незначительный характер собрания, но его, по описанию репортера, «сокрушил» лидер оппозиции мистер Бальфур, который в своей обычной вялой манере разъяснил, что применение бомб против людей не может быть предметом обсуждения на собраниях и оправдываться ссылками на неправильное общественное устройство. То ли вняв аргументам Бальфура, то ли переосмыслив последствия терактов в Испании, Асквит спустя пару дней заявил, что «пропаганда анархистской доктрины опасна для общества» и открытые собрания анархистов более не будут разрешаться<sup>42</sup>.

Анархистами в Лондоне в то время были в основном русские, поляки, итальянцы и другие эмигранты, группировавшиеся вокруг «Автономии», анархистского клуба; другая группа эмигрантов-евреев, обитавшая в бедняцком Ист-Энде, издавала на идише газету «Арбайтер-Фрайнт» и собиралась в клубе под названием «Интернационал» в Уайтчепеле. Английский рабочий класс, для которого индивидуальное насильственное действие было менее естественно, чем для славян, итальянцев и испанцев, анархизмом не интересовался. Некоторые интеллектуалы вроде Уильяма Морриса могли взять на себя роль «светочей», но и Уильям Моррис занимался главным образом разработкой собственной утопической версии государства, утерев влияние к концу восьмидесятых годов и уступил журнал «Общее благо» (*Commonweal*), который основал и редактировал, более воинственным, плебейским и

ортодоксальным анархистам. Существовали и другие журналы: «Воля» (*Freedom*) – издавался группой активистов, чьим учителем был Кропоткин; «Факел» (*The Torch*) – редактировался двумя дочерьми Уильяма Россетти и публиковал взгляды Малатесты, Фора и других французских и итальянских анархистов.

В 1891 году Оскар Уайльд опубликовал необычное эссе под заголовком «Душа человека при социализме». Его заинтересовала личность Кропоткина, и он действительно поверил в то, что художник может быть свободным только в обществе, в котором «отсутствуют власть и принуждение». Несмотря на заглавие, Уайльд отвергал социализм подобно ортодоксальному анархисту на том основании, что он «авторитарен». Если правительство наделить экономической властью, то есть если «у нас по-прежнему останутся индустриальные тираны, то последнее государство человека будет даже хуже первого». Уайльд предпочитал социализм, основанный на индивидуализме. Именно при таком социализме высвободится истинная душа человека и художник тоже станет самим собой.

Во Франции не прекращалась террористическая активность анархистов. 8 ноября 1892 года, во время забастовки шахтеров «Сосьете де мин де Кармо», в парижском офисе компании на улице Оперы была подложена бомба. Ее обнаружил консьерж, бомбу осторожно вынесли и доставили в ближайший полицейский участок на улице Бонз-Анфан. Когда полицейский вносил ее в помещение, она взорвалась, убив и его, и еще пятерых служителей порядка. Их разорвало в клочья, кровью залило окна и стены, повсюду были раскиданы окровавленные фрагменты тел, рук и ног. Полиция заподозрила Эмиля Анри, младшего брата известного радикала-оратора и сына Фортюни Анри, приговоренного к смертной казни и бежавшего в Испанию. Но когда проследили его передвижения в этот день, то оказалось, что он не мог находиться в момент взрыва на улице Оперы, и Анри не арестовали.

Взрыв бомбы в полицейском участке вызвал в городе панику. Все ждали новых взрывов, которые могли произойти где угодно. Любого, кто был связан с законниками и полицейскими – поскольку парижане жили преимущественно в апартаментах, – соседи остерегались как чумного, и нередко такому человеку домовладелец предписывал переселиться в другое место. Город, писал один приезжий англичанин, был «буквально парализован страхом»<sup>43</sup>. Привилегированные классы «вновь заволновались, как в дни Парижской коммуны». Они боялись пойти в театр, ресторан, перестали посещать модные магазинчики на улице Мира и прогуливаться верхом на лошадях в Буа, где «за каждым деревом мог прятаться анархист». Распространялись ужасные слухи: анархисты заминировали церкви, вылили синильную кислоту в городское водоснабжение, они затаились под сиденьями карет, чтобы накинуться на пассажира и задушить или ограбить его. В пригородах расположились войска, иностранные туристы уехали, отели опустели, автобусы разъезжали без пассажиров, театры и музеи забаррикадировались.

Но и в самом высшем обществе не было тогда мира и согласия. Еще не утихли страсти после попытки переворота Буланже, как разразился скандал в связи с разоблачениями коррупции в Панаме и государственных структурах. Изо дня в день на протяжении 1890–1892 годов в парламенте вскрывались все новые детали нелегальных финансовых схем, взяточничества, использования «грязных денег», торговли полномочиями и лоббизма, пока не выяснилась причастность к коррупции 104 депутатов. Запятнали даже Жоржа Клемансо, из-за чего он лишился депутатского мандата на следующих выборах.

Падение престижа государственной власти благоприятствует нарастанию анархистских настроений. Интеллектуалы начинают заигрывать с анархизмом. Большинству людей в глубине души свойственно испытывать неприязнь к правительству, и в таких условиях это скрытое чувство выходит наружу. Подобно тому, как всякому толстяку присуще тайное желание похудеть, и в человеке солидном и респектабельном иногда можно обнаружить подспудные анархистские помыслы. Это качество особенно характерно для натур творческих, художников, писателей, поэтов и других людей аналогичных занятий. Новеллист Морис Баррес, пытавшийся

применить свой талант в самых разных сферах политической мысли, посвятил анархистской философии два сочинения – «Враг закона» (*l'Ennemi des Lois*) и «Свободный человек» (*Un Homme Libre*). Поэт Лоран Тайад писал о пришествии анархистского общества как о «блаженных временах»<sup>44</sup>, когда аристократами будут сплошь одни интеллектуалы, а «простой человек будет целовать отпечатки ног служителей муз». Литературный анархизм стал особенно популярен среди символистов, таких как Малларме и Поль Валери. Октав Мирбо увлекся анархизмом вследствие нелюбви к власти<sup>45</sup>. Ему досаждал любой человек в форменной одежде: полицейские, билетеры, курьеры, консьержи, лакеи. По словам приятеля Леона Доде, лендлордов он считал извращенцами, министров – ворами, адвокатов и банкиров – мошенниками, и ему нравились только дети, нищие, собаки, некоторые художники и скульпторы и очень молодые женщины. «Его идеей фикс было построение мира без нищеты»<sup>46</sup>, – говорил приятель. – И у него всегда находился повод или объект для ненависти». В среде художников Писсаро представил свой рисунок журналу «Пер-Пенар», некоторые другие обозленные парижские иллюстраторы вроде Теофиля Стейнлена пользовались анархистскими изданиями для выражения своего недовольства социальной несправедливостью, иногда, как в случае с карикатурой на президента Франции в грязной пижаме<sup>47</sup>, совершенно непозволительными в иные времена приемами.

Распространялось множество эфемерных журналов, газет и бюллетеней. Достаточно привести лишь несколько названий, чтобы понять их назначение: «Антихрист», «Новая заря», «Черный флаг», «Враг народа», «Вопль народа», «Факел», «Кнут», «Новое человечество», «Неподкупные», «Санкюлот», «Земля и воля», «Возмездие». Члены клубов и кружков с названиями типа «Лига антипатриотов» или «Либертарианцы» собирались в полутемных помещениях, сидели на деревянных скамьях и слушали речи друг друга о тлетворности государства и необходимости революции. Но они никогда не объединялись в организации и ассоциации, не выбирали лидера, не разрабатывали планы и не подчинялись ничьим указаниям. В их представлении государство, как это подтверждалось паникой, вызванной Равашолем, и панамскими разоблачениями, уже рушилось.

В марте 1893 года во Францию вернулся тридцатидвухлетний Огюст Вайян, пытавшийся начать новую жизнь в Аргентине, но так и не преуспевший в этом. Он был внебрачным ребенком, и ему было всего десять месяцев, когда мать вышла замуж за человека, отказавшегося его содержать. Его отдали приемным родителям. С двенадцати лет ему пришлось самому себя обеспечивать, перебиваться случайными заработками, воровать и попрошайничать. Каким-то образом он все-таки окончил школу, устраивался на должности служащего, одно время редактировал еженедельник «Социалистический союз» (*l'Union Socialiste*), но, подобно другим бедолагам, вскоре оказался в окружении анархистов. В роли секретаря «Федерации независимых групп» (*Fédération des groupes indépendants*) он встречался с анархистскими ораторами, в числе которых был и Себастьян Фор, умевший своим «благозвучным и ласковым» голосом<sup>48</sup>, красивыми фразами и элегантными манерами убедить любого человека, слушавшего его речь, в неизбежном пришествии «золотого века». Вайян женился, разошелся с женой, но оставил при себе дочь Сидонию и обзавелся любовницей. Он не был развратником или либертарианцем и заботился о своей крошечной семье изо всех сил. После неудачной экспедиции в Аргентину Вайян попробовал преуспеть в Париже. Однако подобно своему современнику Кнуту Гамсуну, скитавшемуся тогда по улицам Христиании, он тоже наталкивался лишь на унижения, «половинчатые обещания, грубые и вежливые отказы», испытывал «разочарования, горечь от несбывшихся надежд и безуспешных попыток вырваться из нищеты», и наконец оказался в таком бедственном положении, что у него уже не было приличной одежды для поиска работы. Он даже не мог купить себе новую пару обуви и ходил в старых галошах, подобранных на улице.

Вайяну все-таки удалось получить работу на сахарорафинадном заводе, где ему платили всего лишь три франка в день – очень мало даже для семьи из трех человек.

Стыдясь своего нищенства и не в силах больше видеть, как голодают домочадцы, Вайян решил расстаться с жизнью. Но он не хотел уходить из жизни молча и незаметно, а замыслил сделать это громко, «выразив протест всего класса», написал Вайян накануне вечером, который «заявит о своих правах и слова дополнит практическими действиями»: «По крайней мере я умру с чувством удовлетворения, зная, что помог ускорить наступление новой эры».

Вайян не был убийцей и спланировал акцию, в которой содержалась определенная логика. Он сделал бомбу из кастрюли, наполнив ее гвоздями и зарядом взрывчатки, не смертельным для человека. Во второй половине дня 9 декабря 1893 года он пришел с бомбой на галерею для публики в палате депутатов. Очевидец видел, как высокий сухопарый мужчина с бледным лицом встал и бросил что-то вниз в самом разгаре дебатов. Бомба Вайяна взорвалась, как пушечный снаряд, осыпав депутатов металлическими фрагментами, ранив несколько человек, но никого не убив.

Взрыв в палате депутатов вызвал огромный общественный резонанс, а один предприимчивый журналист придал ему значимость памятного исторического события. На званом обеде, устроенном журналом «Плюм», он попросил прокомментировать происшествие именитых гостей, а среди них были Золя, Верлен, Малларме, Роден и Лоран Тайад. Лоран ответил на поставленный вопрос величественно и почти в стихотворном стиле: “*Qu’importe les victimes si le geste est beau?*” («Разве имеют значение жертвы, если совершается прекрасный поступок?»)<sup>49</sup>. Об этих словах, опубликованных на следующее утро в газете «Журналь», скоро вспомнят при гораздо более ужасных обстоятельствах. В то же утро Вайян сам пришел с повинной.

Вся Франция отнеслась с пониманием, а некоторые французы, не анархисты, даже с сочувствием к его действиям. Среди сострадателей были и представители крайне правых кругов, противники республики – роялисты, иезуиты, антисемиты и некоторые аристократы, имевшие свои резоны для того, чтобы ненавидеть буржуазное государство. Эдуард Дрюмон, автор памфлета «Еврейская Франция» и редактор газеты «Либр пароль», рьяно обличавший евреев, причастных к панамскому скандалу, сочинил эссе под многозначительным названием «О грязи, крови и золоте – от Панама к анархизму». «Грязь Панама породила кровь», – написал он. Герцогиня д’Юзес<sup>50</sup>, которая вышла замуж за представителя одного из трех первых герцогских родов, предложила приютить и дать образование дочери Вайяна (сам же Вайян предпочел оставить ее на попечение Себастьяна Фора).

Правительство решило раз и навсегда покончить с анархизмом и запретить его пропаганду. Через два дня после взрыва палата депутатов единогласно приняла два закона, объявлявшие преступлением публикацию любых прямых и не прямых призывов, провоцирующих террористические акции или ассоциирующихся с намерениями совершить такие акты. Хотя эти законы называли *les lois scélérates* («злодейскими»), их вряд ли можно было посчитать излишними, поскольку проповедь деяниями была главным побудительным средством распространения анархизма. Полиция провела рейды по всем кафе и местам собраний анархистов, были выписаны две тысячи суровых предписаний и предупреждений, разогнаны все клубы и дискуссионные кружки, закрыты «Револьт» и «Пер-Пенар», и ведущие анархисты покинули страну.

10 января Вайян предстал перед судом – пятью судьями в красных мантиях и черных с позолотой шапочках. Его обвиняли в убийстве, но он утверждал, что намеревался лишь нанести ранения: «Если бы я хотел убивать, то применил бы гораздо более мощный заряд и наполнил бы контейнер пулями, а я использовал гвозди». Его адвокат месье Лабори, которому было предопределено участвовать в еще более драматическом и крупном деле, защищал своего подопечного, ссылаясь на *un exaspéré de la misère*<sup>21</sup>. Во всем виновен парламент, говорил Лабори,

<sup>21</sup> «Доведение до отчаяния крайней степенью нищеты» (*фр.*).

который ничего не сделал для того, чтобы «ликвидировать бедность одной трети населения страны». Несмотря на аргументы Лабори, Вайяна приговорили к смертной казни – первый случай в XIX веке, когда приговорили к смерти обвиняемого, не совершившего убийство. Судебный процесс и вынесение приговора заняли один день. Почти сразу же президент Сади Карно начал получать петиции о прощении, в их числе было и послание, подписанное шестьюдесятью депутатами во главе с аббатом Лемиром, раненным бомбой Вайяна. Социалист Жюль Бретон предрек: если Карно «хладнокровно одобрит смертную казнь, то ни один человек во Франции не будет сожалеть, если однажды и он станет жертвой бомбы». Из-за этого заявления, по сути подстрекавшего к убийству, социалист провел два года в тюрьме, и оно тоже войдет в историю странных и зловещих совпадений.

Правительство не простило наглой агрессии одиночки-анархиста против государства. Карно отказался смягчить наказание, и 5 февраля 1894 года Вайяна казнили после того, как он успел крикнуть: «Смерть буржуазному обществу! Да здравствует анархия!»

Последовала череда новых убийств. Через семь дней после казни Вайяна на гильотине он был отомщен, и эта месть была самой безумной и злодейской. На этот раз бомба предназначалась не для служителя закона, государства или частной собственности, от взрыва пострадали простые люди. Она взорвалась в кафе «Терминус» на вокзале Сен-Лазар посреди, как написала газета «Журналь», «мирных, обыкновенных граждан, пришедших выпить пива перед сном». Один человек погиб и двадцать получили ранения разной степени тяжести. Как потом выяснилось, преступник действовал, руководствуясь логикой сумасшедшего. Но прежде чем он предстал перед судом, на улицах Парижа взорвалось еще несколько бомб. Взрывом на улице Сен-Жак был убит прохожий, бомба, взорвавшаяся на улице Фобур Сен-Жермен, никому не причинила вреда, а третья бомба взорвалась в кармане Жана Повеля, бельгийского анархиста, когда он входил в церковь Мадлен. Он погиб, детонируя еще две бомбы. 4 апреля 1894 года четвертая бомба взорвалась в фешенебельном кафе «Фуайо». Никто не был убит, но один из посетителей лишился глаза: им оказался Лоран Тайад, тот самый Тайад, который четыре месяца назад пренебрежительно говорил о жертвах «прекрасного поступка».

Страхи в городе нарастали. Когда в театре во время спектакля что-то грохнуло за кулисами, половина зрителей вскочили с мест и помчались к выходам, крича: “*Les Anarchistes! Une bombe!*” Газеты дружно печатали ежедневные сводки под рубрикой “*La Dynamite*”. Когда 27 апреля начался процесс по поводу взрыва бомбы в кафе «Терминус», многие поняли, как легко анархистская идея абстрактной любви к человечеству трансформируется в ненависть к людям.

Обвиняемым оказался тот самый Эмиль Анри, которого подозревали в подбрасывании бомбы в офис компании «Сосьете де мин де Кармо», от взрыва которой погибли шестеро полицейских. Теперь он признался в причастности и к другим убийствам, хотя доказательств найти уже было невозможно. Он утверждал, что взорвал бомбу в кафе «Терминус», мстя за Вайяна и намереваясь «совершить как можно больше убийств»: «Я насчитал пятнадцать убитых и двадцать раненых». Действительно, полиция нашла в его комнате материалов, достаточных для изготовления двенадцати и даже пятнадцати бомб. Бесстрастность, интеллектуальность и презрительное отношение к человеку кое-кому дали повод назвать Анри «святым Юстом анархизма». Он был блистательным студентом, учась в престижном институте Эколь Политекник, откуда его отчислили за оскорбление профессора, и ему пришлось зарабатывать на жизнь, помогая торговцу мануфактурой и получая за это 120 франков в месяц. В двадцать два года он, подобно Беркману, был и самым образованным и знающим теорию анархизма террористом, и самым искренним.

В тюрьме Анри пространно описал цинизм и несправедливость буржуазного общества, свое отношение к анархизму, объяснив, что «приверженность к ценностям индивидуальной инициативы» не позволяла ему примкнуть к «стадным социалистам». Он продемонстрировал превосходное знание доктрин анархизма, сочинений Кропоткина, Реклю, Грера, Фора и других

теоретиков, но особо отметил, что анархисты не должны быть «слепыми последователями», бездумно принимающими на веру их концепции.

Зловеще он объяснил, почему избрал для взрыва бомбы именно кафе «Терминус». Там находились, заявил Анри, «все те, кто доволен существующим порядком, все сообщники и слуги Собственности и Государства... вся масса добропорядочных мелких буржуев, зарабатывающих 300–500 франков в месяц, еще более реакционных, чем их хозяева, ненавидящих бедного человека и всегда занимающих сторону сильного». «Они – клиентура «Терминуса» и других заведений такого рода. Теперь вы знаете, почему я нанес удар именно там».

На процессе, когда судья попрекнул его тем, что он подвергал опасности жизни ни в чем не повинных людей, Анри надменно произнес фразу, которую можно было бы начертать на знамени анархизма: «Не бывает невинных буржуев».

О лидерах анархизма он говорил примерно следующее: те, кто «чурается пропаганды действием», подобно Кропоткину и Малатесте в случае с Равашолем, и «пытается размежевать теорию и террористов, расписываются в своей трусости... Мы, приговаривающие к смерти, знаем, как это делать... Моя отрубленная вами голова не будет последней. Вы вешали в Чикаго, отрубали головы в Германии, душили на гарроте в Хересе, расстреливали в Барселоне, отправляли людей на гильотину в Париже, но есть одна вещь, которую вы не сможете убить. Это анархизм... Это силовое восстание против существующего порядка. Оно убьет вас».

Сам Анри принял смерть стойко. Даже язвительный Клемансо, присутствовавший на казни 21 мая 1894 года, был потрясен и даже встревожен<sup>51</sup>. Ему показалось, что «выражение лица Анри было как у страдающего Иисуса Христа, ужасно бледное, непреклонное, стремящееся придать интеллектуальную горделивость своей детской фигуре». Осужденный шел быстро и, несмотря на кандалы, легко поднялся по ступеням эшафота, посмотрел вокруг и крикнул хриплым и сдавленным голосом: «Мужайтесь, товарищи! *Vive l'anarchie!*» Обращение общества с Анри казалось Клемансо в тот момент «свирепо жестоким».

После небольшого перерыва анархизм нанес новый удар, последний во Франции, но самый серьезный, если судить по рангу его жертвы, хотя исполнителем была мелкая сошка. 24 июня 1894 года в Лионе президента Сади Карно во время визита на выставку заколол ножом молодой итальянский рабочий с фанатичным криком “*Vive la révolution! Vive l'anarchie!*” Президент ехал в открытом экипаже сквозь толпы людей, выстроившихся вдоль улиц, и дал указание эскорту не запрещать народу подходить к карете. Когда молодой человек, держа в руке свернутую газету, выскочил из переднего ряда, охрана не остановила его, думая, что в газете завернут букет цветов для президента. Но в ней был скрыт кинжал, которым молодой человек поразил Карно, воткнув его на шесть дюймов в брюшную полость. Президент скончался через три часа. Жена на следующий день получила письмо, отправленное до покушения и адресованное «вдове Карно» и содержащее фотографию Равашоля с надписью «Он отомщен».

Убийцей оказался подмастерье пекаря, его звали Санто Касерио, и ему еще не исполнился двадцать один год. Он родился в Италии и познакомился с анархистами в Милане, расаднике политического неповиновения. В восемнадцать лет он уже был осужден за распространение анархистской литературы среди солдат. Следуя примеру других смутьянов, Касерио отправился в Швейцарию, а затем в Сет на юге Франции, где нашел работу и сблизился с группой местных анархистов, называвших себя *Les Coeurs de Chêne* («Сердца дуба»). Он долго размышлял над судьбой Вайяна и прочитал в газетах об отказе президента смягчить приговор и его предстоящей поездке в Лион. Касерио сразу же решил совершить «великое деяние». Он попросил дать ему отпуск и двадцать франков, которые ему причитались, купил кинжал и поездом отправился в Лион. Затем он смешался с толпой и стал поджидать свою жертву.

Оказавшись в руках правосудия, Касерио вел себя послушно, спокойно и все время улыбался. Его бледное, простоватое и доброе лицо показалось одному журналисту «белой маской мучного Пьеро с двумя маленькими светло-голубыми, неподвижными, словно приклеенными

глазами. Над верхней губой виднелась тонкая полоска усов, которые, казалось, появились лишь недавно». И на допросах, и на суде он сохранял безмятежность, рационально рассуждал о принципах анархизма, которым, по всей видимости, был одержим. Свой поступок охарактеризовал как преднамеренный акт «пропаганды деянием». Эмоции отражались на его лице только тогда, когда речь заходила о матери, к которой он, очевидно, испытывал искреннюю привязанность и регулярно писал ей письма. Когда тюремщик пришел будить его 15 августа, в день казни, он всплакнул, но потом не издал ни одного звука, пока его вели на гильотину. Когда его голову положили на плаху, он прошептал несколько слов. Одни считают, что он произнес традиционные «*Vive l'anarchie*», другие перевели его слова как *A voeni nen*, что на ломбардском диалекте означает «Я не хочу этого».

После убийства главы государства анархизм во Франции, столкнувшись с новой политической реальностью и не имея опоры в рабочем классе, капитулировал. Вначале могло показаться, что у анархистов появились благоприятные возможности для пропаганды или притязаний на звание мучеников. Правительство пошло в наступление и 6 августа устроило массовый судебный процесс над тридцатью наиболее известными анархистами<sup>52</sup>, чтобы доказать связь между террористами и теоретиками. Поскольку самые одиозные террористы уже были казнены, у правительства оставались трое малозначительных персонажей, которых можно было представить самое большее «грабителями», но никак не «равашолями». Из лидеров Элизе Реклю покинул страну, но на скамью подсудимых удалось посадить его племянника Поля Реклю, Жана Грва, Себастьяна Фора и еще несколько человек. Поскольку у анархистов не имелось партии или организации, перед обвинением встала проблема, аналогичная отсутствию *corpus delicti*<sup>22</sup>. Оно нашло выход из положения, придумав «секту», ставившую своей целью низвержение государства посредством пропаганды, поощрявшей кражи, грабеж, поджоги и убийства, «в чем каждый член секты принимал участие согласно темпераменту и возможностям». Опасаясь ораторского мастерства Фора, суд предоставлял слово в основном обвинению, а когда позволял высказаться подсудимым, то сожалел об этом. Обращаясь к Феликсу Фенеону, одному из подсудимых, известному критику и поборнику импрессионизма, председательствующий судья сказал: «Вас видели, как вы беседовали с анархистом у фонарного столба».

«Ваша честь, – ответил Фенеон, – не могли бы вы уточнить, у какого фонарного столба?»

Обвинение не представило убедительных доказательств, и присяжные оправдали всех подсудимых, кроме троих «грабителей», которым дали различные тюремные сроки. Французский здравый смысл вновь оказался на высоте.

Вердикт присяжных лишил анархизм *cause célèbre*<sup>23</sup>, но главной причиной упадка стало нежелание французского рабочего класса поддержать движение, не приносящее ему никаких дивидендов. Бесплодность террора уже поняли такие вожди анархизма, как Кропоткин, Малатеста, Реклю и даже Иоганн Мост. В поисках путей свержения государства они спотыкались об один и тот же парадокс: революция невозможна без организации, дисциплины и управления, анархизм же отвергал все это.

Анархистам не разрешили участвовать во Втором социалистическом интернационале в Лондоне в 1896 году из-за отказа признавать необходимость в политическом действии, и они созвали свой конгресс в Париже в 1900 году. Они попытались найти приемлемую для всех форму объединения, но все предложения отвергались Жаном Гравом. На конгрессе в Амстердаме в 1907 году было создано международное бюро, вскоре захиревшее и прекратившее свое существование.

В непризнании анархистами любых форм власти все же содержался определенный здравый смысл и понимание реальности. Как сказал однажды Себастьян Фор, получивший

<sup>22</sup> Состав преступления (*лат.*).

<sup>23</sup> Громкий судебный процесс (*фр.*).

иезуитское образование, «всякая революция заканчивается порождением нового правящего класса»<sup>53</sup>.

Реалисты другого толка поняли действительные потребности рабочего класса. Ему был нужен восьмичасовой рабочий день, а не взрыв бомбы в парламенте и не покушение на президента. Анархисты пропагандой деяниями помогли рабочим осознать необходимость борьбы за свои права. Вот почему Равашоль стал народным героем, о котором пели песни на улицах. После расправы над коммунарами французский пролетариат был в прострации, и акции анархистов вывели его из состояния апатии. Пролетарии осознали, что их сила в коллективном действии, и уже в 1895 году была создана *Confédération Générale du Travail*, Всеобщая конфедерация труда (ВКТ) – объединение французских трудящихся.

Анархисты тоже все больше вовлекались в профсоюзы, привнося в рабочее движение свои доктрины. В результате слияния анархистской теории и тред-юнионистской практики возник синдикализм (*syndicat* – французский профсоюз). Именно в этом формате французский анархизм продолжал действовать в 1895–1914 годах, хотя сторонники «чистого» анархизма вроде Жана Грера от него отмежевались.

Главным средством борьбы стала всеобщая забастовка, а лидером и пророком – Жорж Сорель. Пропаганду деянием сменил лозунг всеобщей забастовки. Для свержения капитализма, доказывал Сорель, рабочий класс должен развить в себе силу воли. Насилие – необходимое средство воспитания и упрочения революционного духа. Синдикалисты по-прежнему ненавидели государство и всех, кто, подобно социалистам, демонстрировал готовность сотрудничать с ним. Они, как и предшественники-анархисты, не признавали половинчатых реформаторских мер. Стачка, всеобщая забастовка, саботаж – только такими методами «прямого действия» можно добиться своих целей. Дух насилия сохранился, но оно приобрело другие формы.

В Испании в то же время кровавая вакханалия продолжалась. 7 июня 1896 года, в день празднования Тела Христова, кто-то бросил бомбу в процессию<sup>54</sup>, возглавлявшуюся епископом и командующим гарнизоном Барселоны, когда она входила в церковь. Представители церкви и армии, для которых и предназначалась бомба, уцелели, но погибли одиннадцать прихожан и сорок получили ранения, а по жестокости и кровавости эта акция была сравнима с массовым убийством в Оперном театре три года назад. Анархисты преуспели в том, чтобы посеять панику в городе, хотя им вряд ли удалось застрашать премьерера Антонио Кановаса дель Кастильо, который был человеком непугливым.

В 1895 году Кановас в пятый раз стал премьер-министром<sup>55</sup>, и он был, как писали тогда, «простого происхождения», сам всего достиг, занимался инженерией, журналистикой, дипломатией, избирался в кортесы, возглавив затем консервативную партию. Он был вдохновителем реставрации монархии в 1874 году. Помимо политики, Кановас увлекался сочинением стихов, писал литературные критические эссе, составил жизнеописание Кальдерона, десяти томную историю Испании и был еще президентом Королевской академии истории. Он коллекционировал живопись, редкий фарфор, трости и старые монеты, жил в роскошном дворце в Мадриде, одевался только во все черное и, подобно Фрику, презирал украшения, которые «опошляют индивидуальность». Одни считали его реакционером, другие – способным государственным деятелем, но все признавали, что только он мог сохранять единство консервативной партии и удерживать Кубу для Испании. Хотя Кановас уже сформулировал план кубинской автономии, он же отправил генерала Вейлера подавлять *insurrectos*, и его твердость и решительность, в отличие от либеральных предшественников, давали свои плоды. К анархистам он был беспощаден.

По его указанию начались массовые аресты. В тюрьму заточили более четырехсот человек, правительство сажало в темницу всех врагов режима, будь то анархисты, антиклерикалы или каталонские республиканцы. Снова заполнились камеры крепости Монжуик. Генеральный прокурор потребовал смертной казни для двадцати восьми из восьмидесяти четырех обвиняемых в совершении преступления, и они должны были предстать перед военным трибуналом. Это предусматривалось законом, принятым кортесами после взрыва в Оперном театре. В соответствии с этим законом все преступления, совершенные с применением взрывчатки, подлежали рассмотрению военным трибуналом, а лица, совершившие их, приговаривались к смертной казни. Пожизненным тюремным заключением наказывалась любая пропаганда насилия – устная, письменная или графическая. Суд проходил за крепостными стенами тюрьмы Монжуик, и присутствовать на нем разрешалось только военному персоналу. Восьмерых осужденных приговорили к смертной казни, четверо из них получили отсрочку, а остальных казнили сразу же. Семьдесят шесть человек осудили на различные тюремные сроки – от восьми до девятнадцати лет, из них шестьдесят одного заключенного отправили в исправительную колонию Рио-де-Оро, испанский Девилз-Айленд<sup>24</sup>.

Тем временем об истязаниях заключенных в тюрьме Монжуик, осужденных в 1893 году, стало известно за пределами Испании. О них рассказал в статье, опубликованной во Франции в 1897 году под заголовком *Les Inquisiteurs de l'Espagne*<sup>25</sup>, Таррида дель Мармол, представитель знатного каталонского рода, либерал, директор Политехнической академии в Барселоне, сам подвергшийся арестам. Ужаснула общественность и приведенная им посмертная мольба о помощи, содержащаяся в записке заключенного и адресованная «Всем людям доброй воли на земле»<sup>56</sup>. В ней рассказывалось о том, как узника ночью выводили на скалу, нависшую над морем, где стражники заряжали ружья и лейтенант угрожал расстрелять его, если он не скажет то, что от него требуют. Когда он отказывался, ему выворачивали гениталии, и эта пытка повторялась в камере, где его подвешивали на дверь на десять часов. Его также заставляли безостановочно ходить по пять дней: «В конце концов я не выдержал, ослаб, смалодушничал и подписал признание, которое они от меня требовали».

В августе 1897 года премьер Кановас отправился на отдых в Санта-Агуэду, бальнеологический курорт в горах басков. Там он обратил внимание на белокурого и благовоспитанного парня, остановившегося в том же отеле, говорившего по-испански с итальянским акцентом и несколько раз вежливо его поприветствовавшего. Заинтересовавшись, Кановас попросил секретаря выяснить, кто этот молодой человек. Оказалось, что в отеле он зарегистрирован как корреспондент итальянской газеты «Иль пополо». Однажды утром, когда премьер-министр сидел с супругой на террасе, читая газету, внезапно появился итальянец, вынул из кармана револьвер и с расстояния трех ярдов трижды выстрелил в Кановаса, убив его наповал. Мадам Кановас в гневе вскочила и ударила веером по лицу молодого человека, все еще державшего в руке револьвер, вскричав: «Убийца! Душегуб!»

«Я не убийца, – ответил итальянец суровым тоном. – Я мститель и мщу за своих товарищей-анархистов. От вас мне ничего не надо, мадам».

На допросах выяснилось, что его настоящее имя Микеле Анджиоллило<sup>57</sup>. В итальянской армии его трижды направляли в штрафной батальон за неповиновение. После армии он стал печатником; эта профессия традиционно ассоциировалась с анархизмом в силу двух обстоятельств: либо анархисты нуждались в печатном слове, либо печатное слово пробуждало анархистские помыслы. Вскоре Анджиоллило посадили в тюрьму на восемнадцать месяцев за печатание подрывной литературы. В 1895 году, предприняв с друзьями-анархистами безуспешную

<sup>24</sup> Рио-де-Оро – испанская колония на юге Западной Сахары; Девилз-Айленд, Devil's Island или Île du Diable – Остров Дьявола, остров во Французской Гвиане, куда Франция ссылала политических заключенных.

<sup>25</sup> «Испанские инквизиторы» (фр.).

попытку наладить подпольную типографию в Марселе, он отправился в Барселону и уехал оттуда после взрыва в день празднования Тела Христова. Микеле побывал в Брюсселе и съездил в Лондон, где купил револьвер, уже поставив себе цель убить испанского премьера «за массовые пытки и казни анархистов». Он вернулся в Испанию, безрезультатно выслеживал Кановаса в Мадриде и последовал за ним в Санта-Агуэду, где и достиг свою жертву. Через неделю его судил военный трибунал. Он хотел воспользоваться судебным процессом для пропаганды анархизма и кричал «Дайте мне высказаться!», но ему так и не позволили выступить даже с последним словом. Его казнили на гарроте, он отказался от религиозного обряда и до конца сохранял исключительное хладнокровие.

В Европе пресса истерически призывала задушить «бешеных собак» анархизма. Об утрате Кановаса писали как о национальной трагедии для Испании, а журнал «Нейшн» в Нью-Йорке предрек ей «национальную катастрофу». В действительности его смерть стала лишь одним из тех политических факторов, которые влияют на ход событий. После его ухода из жизни власть перешла к либералам, которые вскоре стушевались перед грозными предупреждениями по поводу действий «мясника» Вейлера, инициированными Херстом и раздававшимися из Соединенных Штатов. Генерала Вейлера убрали, когда он уже почти навел порядок, и на Кубе вновь вспыхнул мятеж, предоставивший американским империалистам предлог для развязывания самой сфабрикованной войны столетия. Если бы Кановас был жив, то такой предлог вряд ли бы появился.

Его смерть не была беспричинной, но для двух из трех, случившихся позже, невозможно найти разумных объяснений. Их можно объяснить лишь влиянием отчасти анархистской пропаганды, давшей подсказку, и отчасти повышенной эмоциональной реакции общественности на деяния анархистов, действующей возбуждающе на неуравновешенных людей.

Первая жертва встретила свою смерть 10 сентября 1898 года на набережной Монблан в Женеве. Здесь столкнулись лицом к лицу два человека, настолько разные и настолько далекие друг от друга в реальном мире, что их могла свести вместе только сверхъестественная, фатальная случайность, подобная молнии, в грозу убивающей ребенка. По воле рока на набережной встретились Елизавета, императрица Австрийская, супруга императора Франца Иосифа, и Луиджи Лукени, итальянский рабочий<sup>58</sup>.

Самое прелестное и меланхоличное существо королевских кровей, вышедшее замуж и коронованное в шестнадцать лет, в возрасте шестидесяти одного года все еще не могло найти свое место в жизни, тщетно пытаясь убежать от самой себя. Елизавета покоряла всех своей необыкновенной красотой, чудесными золотисто-каштановыми волосами, искрометностью и грациозной, плавной походкой, но это «олицетворение женского очарования» страдало головной болью, из-за чего она никогда не появлялась на публике без веера. «Сказочной феей, – называла ее Кармен Сильва<sup>26</sup>, королева Румынии, – стремящейся улететь на невидимых крыльях всякий раз, когда мир для нее становится невыносимым». Она писала грустные романтические стихи и видела, как ее сын покончил жизнь самоубийством. Ее двоюродный брат король Баварский Людвиг утонул в безумии; Максимилиана, брата мужа, расстреляли в Мексике; сестра погибла при пожаре на благотворительном базаре в Париже. «Мне так тягостно жить, – писала она дочери, – что иногда я испытываю от этого физическую боль и мне хочется поскорее умереть». Она уезжала в Англию или Ирландию, неделями пропадая на охоте и умышленно выбирая во время погони на лошадях за дичью самые высокие изгороди. В Вене Елизавета брала уроки самого рискованного циркового наездничества. Иногда она пыталась заморить себя полуголодной диетой, ограничиваясь одним апельсином или стаканом молока в день. Когда здоровье уже не позволяло выезжать на охоту, она изводила себя пешими прогулками, продолжавшимися шесть-восемь часов и в таком темпе, что никто не выдерживал

---

<sup>26</sup> Кармен Сильва – литературный псевдоним румынской королевы Елизаветы Оттилии Луизы.

и сходил с дистанции. Ясно, чего она добивалась: «Я жажду смерти», – писала она дочери за четыре месяца до поездки в Женеву.

9 сентября Елизавета побывала на вилле баронессы Адольф де Ротшильд, располагавшейся у озера, в волшебном мире с парком, где росли ливанские кедры и обитали прирученные дикобразы с острова Явы и яркие разноцветные птицы. Утром следующего дня, когда она выходила из отеля, намереваясь совершить прогулку на пароходе по озеру, на улице ее поджидал итальянец Лукени.

Он приехал из Лозанны, где им уже интересовалась полиция. Санитар больницы, куда его привезли с травмой, полученной на стройке, обнаружил среди вещей блокнот с анархистскими песнями, рисунком дубинки и надписями «Анархия» и «Для Умберто I». Швейцарская полиция, привыкшая иметь дело с изгоями, радикалами и эмигрантами разного рода, не придавала особого значения этим уликам, не арестовала его и не начала расследование.

Лукени рассказал санитару, что его мать, забеременев в восемнадцать лет от хозяина, уехала рожать в многомиллионный Париж, где никто не обращал никакого внимания на подобные эксцессы. Затем она вернулась в Италию, отдала ребенка в богадельню Пармы и скрылась в Америке.

В девять лет мальчишка устроился чернорабочим на железной дороге. Позднее, когда его призвали в кавалерию итальянской армии, он неплохо проявил себя и дослужился до чина капрала. После армии, не имея ни денег, ни перспектив, он поступил слугой к своему бывшему командиру, принцу д'Арагона. Когда хозяин отказался повысить жалование, он ушел от него. Впоследствии Лукени попросился обратно, но князь, помня о непослушании, не взял его на службу. Разобиженный и безработный, Лукени принялся читать *L'Agitatore*, *Il Socialista*, *Avanti* и другие революционные газеты и памфлеты, в то время дружно поносившие прогнившее буржуазное общество на примере дела Дрейфуса. Не хватает Самсона, утверждали агитаторы, который бы смел это государство одним ударом. Лукени, уже перебравшийся в Лозанну, посылал вырезки друзьям по бывшему кавалерийскому полку. Однажды в связи с убийством рабочего, погибшего в драке, он сказал приятелю: «О, как бы я хотел убить кого-нибудь. Но это должна быть очень важная персона, чтобы написали газеты». Он посещал собрания итальянских анархистов, горячо обсуждавших планы свержения государства, символом которого был Умберто, король Италии.

Швейцарские газеты сообщили о предстоящем визите в Женеву императрицы Елизаветы. Лукени попытался купить стилет, но не мог собрать для этого двенадцать франков. Он заточил старый напильник и насадил на ручку, сделанную из полена. Когда императрица и ее фрейлина графиня Стараи шли по набережной Монблан, на их пути уже стоял Лукени. Он подскочил к ним с поднятой рукой, заглянул под зонтик, чтобы посмотреть в лицо императрицы, и ударил ее заточкой прямо в сердце. Елизавета скончалась через четыре часа. Лукени, схваченного двумя жандармами, сфотографировал какой-то прохожий. На снимке он выглядит веселым, самодовольным и даже ухмыляющимся. В полицейском участке он охотно рассказал обо всех деталях подготовки покушения, а узнав о смерти императрицы, выразил «восторг». Лукени настойчиво твердил, что он анархист, действовал по своей воле и не принадлежит ни к какой организации или партии. Когда его спросили, почему он убил именно императрицу, Лукени ответил: «Это война против богатых и знатных... Следующим будет Умберто».

Из тюрьмы он посылал письма президенту Швейцарии и в газеты, предупреждая о неминуемом крахе государства и подписывая их: «Луиджи Лукени, анархист и самый опасный из них». Принцессе д'Арагона он сообщил: «Мое дело такое же важное, как и суд над Дрейфусом». Но за дурацкой мегаломанией скрывалась и идейность анархиста. Лукени писал принцессе: за двадцать пять лет жизни в этом мире он «никогда еще не чувствовал в себе такую готовность, как сейчас, доказать, что недалеко то время, когда новое солнце засияет над всеми людьми, равными и свободными».

В Женеве не осуждали на смертную казнь, и Лукени приговорили к пожизненному тюремному заключению. Через двенадцать лет после ссоры с надзирателем его посадили в одиночную камеру, где он повесился на ремне.

После убийства австрийской императрицы очередной жертвой мог стать кайзер Вильгельм II, самая заметная монаршая фигура того времени, совершавшая к тому же широко разрекламированное путешествие в Иерусалим. Полиция отловила всех известных анархистов на этом маршруте, и вся международная общественность взволновалась, когда в Александрии арестовали итальянского анархиста, имевшего при себе две бомбы, билет до Хайфы и явно затевавшего покушение на кайзера<sup>59</sup>. Германских анархистов Вильгельм мог не опасаться. Двое террористов, попытавшихся убить его деда, были единственными и последними персонажами такого рода. Другие анархисты были преимущественно теоретиками, исключая, конечно, тех, кто уехал в Америку. Немцы не годились в анархисты, как презрительно писал Бакунин<sup>60</sup>, поскольку «они хотели быть одновременно и господами и рабами, а анархизм не признавал ни то, ни другое».

Убийцы и президента Франции, и премьера Испании, и австрийской императрицы, и несостоявшийся убийца кайзера – все они были итальянцами. В самой Италии кузнец по имени Пьетро Аччарито в 1897 году попытался лишить жизни короля Умберто, кинувшись к его карете с кинжалом по примеру Касерио, напавшего на президента Карно. Король, более искусный в таких делах, отскочил, увернувшись от удара, сказал эскорту *“Sono gli incerti del mestiere”* («Таковы издержки профессии») и повелел кучеру ехать дальше. Аччарито сообщил потом полиции, что предпочел бы «заколоть эту старую обезьяну» папу Льва XIII, но не мог проникнуть в Ватикан, и ему ничего не оставалось, как напасть на монархию, являющуюся не меньшим злом, чем папство.

Ненависть низших классов к законопослушному обществу явно нарастала, и его беззащитность становилась все более очевидной. Полиция, всегда подозревавшая «заговор», арестовала полдюжины предполагаемых сообщников Аччарито, но не нашла никаких доказательств их связи с ним. Легче раскрыть заговор группы или партии, для этого и существуют информаторы. Но как предотвратить внезапные нападения террористов-одиночек?

Настолько насущной оказалась проблема, что итальянское правительство в ноябре 1898 года созвало международную конференцию полиции и сотрудников министерств внутренних дел<sup>61</sup>. Секретные заседания длились целый месяц, и они дали лишь один приятный результат: Бельгия, Швейцария и Англия согласились выдавать подозреваемых анархистов странам, гражданами которых они являются.

В следующем, 1899 году в Италии вспыхнули хлебные бунты, вызванные недовольством налогами и пошлинами на зерно. Анархисты получили в руки еще одно доказательство войны государства против бедноты. Мятежи охватили и север и юг страны, несмотря на жесткие репрессии и кровавые стычки с войсками. В Милане народ опрокидывал трамваи, строил баррикады, забрасывал полицию камнями, женщины преграждали путь поездам с войсками, в Тоскане было введено военное положение. Откликаясь на призыв к революции, вернулись тысячи итальянских рабочих из Испании, Швейцарии и Юга Франции. Взять ситуацию под контроль удалось только после введения в Милан половины армейских корпусов. Власти закрыли все социалистические и революционные газеты, временно приостановили деятельность парламента. Порядок был восстановлен, но лишь кажущийся.

Безобидный в общем-то монарх, которому пришлось заниматься наведением порядка, обладал внушительными белыми усами, незаурядной отвагой и добронравием, но не очень подходил для царствования, как и все представители Савойского дома. Умберто увлекался лошадьми, охотой, совершенно не интересовался искусствами, предоставив жене заботиться о них, и строго придерживался регламента. Он поднимался в шесть утра, осматривал владения

(приносившие немалый доход, который помещался в Английский банк), обходил конюшни и после обеда в одно и то же время садился в карету и ехал по одному и тому же пути через сады Боргезе. Каждый вечер в одно и то же время он навещал леди, к которой сохранял привязанность уже тридцать лет. 29 июля 1900 года Умберто, сидя в карете, вручал призы атлетам в Монце, летней резиденции неподалеку от Милана, когда к нему неожиданно подошел незнакомец и трижды выстрелил с расстояния двух ярдов. Король посмотрел на него укоризненно, склонил голову на плечо адъютанта, прошептал возничему “*Avanti!*” и испустил дух.

Убийцу, «все еще державшего в руке дымящийся револьвер и не скрывавшего своего ликования», задержали. Им оказался Гаэтано Бреши, тридцатилетний анархист, ткач, приехавший из Патерсона штата Нью-Джерси в Италию специально для того, чтобы застрелить короля. Его акцию можно считать единственным примером пропаганды деянием, совершенным в результате заговора, хотя и не доказанного<sup>62</sup>.

Патерсон был центром сосредоточения итальянцев и анархистов. Конечно, они устраивали сходки, на которых обсуждали «деяния» с целью свержения угнетателей. Без сомнения, рассматривалась и кандидатура короля Италии, однако нет подтверждений появившимся после покушения домыслам, будто его приговорили к смерти, как и догадкам, будто дискуссии подтолкнули Бреши на преступление. Образ заговорщиков, бросающих в подвале жребий, кому верить акт правосудия или возмездия, будоражил воображение журналистов.

Один из таких репортеров написал, что Бреши подпал под влияние Малатесты, «вожака и вдохновителя всех заговоров, которые потрясли и ужаснули мир». Он утверждал, будто видели, как Малатеста спокойно сидел и что-то пил в итальянском баре в Патерсоне. Однако полиция не нашла свидетельств, которые доказывали бы, что Бреши когда-либо встречался с Малатестой. Но кто-то же ему дал или он сам приобрел револьвер и тренировался в стрельбе в лесу, пока жена с трехлетней дочкой собирала поблизости цветы. И кто-то снабдил его или он сам раздобыл деньги для покупки билета третьего класса на пароход компании «Френч лайн» до Гавра и на поездку из Гавра в Италию.

«Он был не настолько безумным, чтобы думать, будто после его акции сменится власть, – говорил репортеру Педро Эстев, редактор анархистского журнала в Патерсоне. – Но как еще вы дадите народу Италии знать о существовании такой силы, как анархизм?» Эстев, дружелюбный и интеллигентный человек, у которого на полках рядом стояли сочинения Эмерсона и Жана Грера, охотно согласился с предположением о том, что кто-нибудь из его читателей все же может подняться и пойти выражать протест «прямым действием».

Товарищи Бреши послали ему в тюрьму поздравительную телеграмму и носили значки с его изображением на отворотах пиджаков. На собрании в Патерсоне, в котором участвовало более тысячи человек, они утверждали, что не было никакого заговора. «Нам нет нужды устраивать заговоры или заниматься болтовней, – заявил Эстев, основной оратор. – Если ты анархист, то знаешь, что надо делать, и поступаешь так, как считаешь нужным».

Бреши постигла участь всех других приверженцев и исполнителей идеи. В Италии запретили смертную казнь, и его приговорили к пожизненному заключению с пребыванием первых семи лет в одиночной камере. Он не выдержал и года, покончив жизнь самоубийством.

В Соединенных Штатах газетные описания убийства короля Умберто читал и перечитывал американец польского происхождения по имени Леон Чолгош. Газетную вырезку он берег как драгоценность и брал с собой в постель каждый вечер, ложась спать. Ему было двадцать восемь лет, он был небольшого роста, хрупкого телосложения, и его светло-голубые глаза обладали какой-то особенной неподвижностью. Он родился в Соединенных Штатах вскоре после приезда в Америку отца с матерью, у него было еще пять братьев и две сестры, и все они жили на маленькой ферме в Огайо. По словам отца, он «выглядел более задумчивым, чем большинство детей», много читал, и в семье его считали интеллектуалом. В 1893 году, когда ему исполнилось двадцать лет, во время забастовки его уволили с работы на проволочной фабрике, и

после этого, по словам брата, он «стал тихим и безрадостным». Молитвы и проповеди местного приходского священника не действовали, он порвал с католической церковью, предался чтению памфлетов, издававшихся «Вольнодумцами» (*Free Thinkers*), и пристрастился к политическому радикализму. Чолгош примкнул к кружку польских рабочих, принимал участие в обсуждении социализма и анархизма, говорили они, как он потом признавал, и «о президентах, отзываясь о них не очень хорошо».

В 1898 году его поразил какой-то недуг, и Чолгош ходил унылый и мрачный. Он забросил дела, замкнулся дома, брал с собой еду наверх в спальню, читал чикагскую анархистскую газету «Свободное общество» и утопию Беллами «Оглядываясь назад» и все время о чем-то думал. Иногда он выезжал в Чикаго и Кливленд на собрания анархистов, слушал речи Эммы Гольдман, беседовал с анархистом Эмилем Шиллингом, рассказав ему, что его беспокоит поведение американской армии, которая освободила Филиппины от испанцев и теперь воюет с филиппинцами. «Это не согласуется с тем, что нам толковали в школе о роли нашего флага», – сказал он Шиллингу.

Поскольку флаги анархистами не почитались, Шиллинг заподозрил неладное и опубликовал в газете «Свободное общество» предостережение: странный поляк может быть *agent provocateur*. Предупреждение появилось 1 сентября 1901 года, и оно оказалось ложным. Через пять дней Чолгош возник в Буффало и, стоя в очереди за рукопожатием на Панамериканской выставке, застрелил президента Мак-Кинли. Президент умер через восемь дней, и его место занял Теодор Рузвельт. Таким образом, анархист с наименьшим уровнем идейной подготовки совершил самое громкое деяние.

«Я убил президента Мак-Кинли, – написал Чолгош в признании, – выполнив свой долг. Он был врагом хороших людей, трудящихся». Чолгош рассказал репортерам, что слушал лекцию Эммы Гольдман, которая говорила, что «надо истребить всех правителей... и у меня голова разрывалась от боли, когда я думал об этом». И потом добавил: «Я не считаю, что нам нужны правители. Их надо убивать... Я знаю других людей, которые думают точно так же, что правильно убить президента и не иметь никаких правителей... Я не верю в выборы, они противоречат моим принципам. Я анархист. Я не верю в браки. Я верю в свободную любовь».

Анархистская идея лучшей жизни отсутствовала в миропонимании Чолгоша. Как и учеником пекаря Касерио, заколовшим президента Франции, им тоже завладела бредовая иллюзия, будто и на него возложена миссия убить главу государства. После суда и казни Чолгоша 29 октября на электрическом стуле к такому выводу пришел Уолтер Чэннинг, профессор-психиатр из Тафтса, сын поэта Уильяма Эллери Чэннинга<sup>63</sup>. Его не удовлетворил официальный отчет, и он провел собственное исследование, заключив, что у Чолгоша «неуклонно развивалась *dementia praecox*<sup>27</sup>, психическое расстройство, описанное французским психиатром Эммануэлем Режи в 1890 году. Согласно теории доктора Режи, психическому поведению царевубийцы свойственны «обдуманность и одиночество»: «Какими бы разумными доводами он ни руководствуется, они уступают место болезненной одержимости мыслью о призвании совершить великое деяние, отдать жизнь за справедливое дело и убить монарха или иную высочайшую особу во имя Бога, страны, свободы, анархии или какой-нибудь другой аналогичной идеи». Он действует предумышленно и вдохновенно. Он действует не внезапно и слепо, а готовится к акции тщательно и исполняет ее в полном одиночестве. Он – солист. Гордящийся и собой, и своей миссией, он всегда действует днем и при скоплении народа и никогда не применяет незаметные средства вроде яда, а использует оружие, демонстрирующее акт насилия. И совершив его, он не прячется и не убегает, а выказывает гордость содеянным, жаждет известности и смерти посредством казни или самоубийства и статуса мученика.

<sup>27</sup> Раннее слабоумие (*лат.*).

Описание верное, но для реализации даже бредовых иллюзий необходимы побудительные мотивы, атмосфера протеста и примеры. Все это в избытке предоставлял анархизм. Могли существовать сотни потенциальных Чолгошей, серия акций, совершенных анархистами от Равашолы до Бреши, подготовила и покушение на президента Соединенных Штатов.

Возмутилась вся общественность, а она состояла не только из богатых особ, но и тех, кто имитировал состоятельность или стремился к ней. Простой человек – мелкий буржуа, служащий, получающий зарплату, – не отделял себя от работодателей, что и рассердило Эмиля Анри, бросившего бомбу в кафе «Терминус». Он верил в то, что сама его жизнь и благосостояние зависят от собственников. Если угрожают им, значит, угрожают и ему. Его ужасает стремление анархистов уничтожить основы, на которых зиждется повседневное существование человека: государственный флаг, семья, брак, церковь, выборы, законы. Анархист превратился во всеобщего врага. Его злоебный образ стал символом всего порочного и разрушительного в жизни, олицетворением, как написал профессор политологии в журнале «Харперс уикли», «царя всех анархистов, архибунтовщика Сатаны». Доктрина анархизма, предупреждал журнал «Сенчури мэгэзин», «предвещает людям больше зла, чем какая-либо другая концепция межчеловеческих отношений»<sup>64</sup>.

Новый президент, способный и проявлять понимание, и предпринимать решительные действия, и изрекать банальности, назвал анархистов обыкновенными преступниками, только более «извращенными» и «опасными». В послании конгрессу 3 декабря 1901 года Теодор Рузвельт заявил: «Анархизм – преступление против всего человечества, и все человечество должно сплотиться для борьбы против анархизма»<sup>65</sup>. Он не является продуктом социальной и политической несправедливости, и его претензии на защиту трудящихся «возмутительны». В Соединенных Штатах уважительно относятся к «честному и добросовестному труду», и перед рабочими открыты все возможности для того, чтобы проявить себя. Он потребовал расценивать собрания, устные и письменные выступления анархистов подрывными, запретить им въезд в страну, а тех, кто уже находится в Соединенных Штатах, – депортировать. Конгресс должен «изолировать всех, кто разделяет анархистские убеждения или является членом анархистских обществ», и проповедь убийства должна считаться таким же нарушением международного права, как пиратство, с тем чтобы федеральное правительство наделить полномочиями для борьбы с анархистами.

После острых дебатов и не без протеста со стороны тех, кто возражал против посягательств на традиционное право свободного въезда в страну, конгресс в 1903 году принял поправку к иммиграционному законодательству, предусматривающую лишение этих прав лиц, проповедующих недоверие или оппозицию правительству. Поправка вызвала недовольство либералов и язвительные упоминания статуи Свободы.

Анархизм обычно предстает двуликим Янусом: с одной стороны, он ненавидит общество и государство, с другой – печется о судьбе человечества. Но широкой общественности известна лишь одна сторона медали: бомбы, взрывы, выстрелы, кинжалы. Она ничего не знает о заявке анархизма на то, чтобы вести человечество через спазмы насилия к Сладким Чертогам. Пресса, например, изобразила Малатесту злым гением анархизма, «молча и хладнокровно составляющим заговоры». Но он же, исходя из альтруистских принципов своей философии, передал по акту жильцам два дома, доставшихся ему в наследство от родителей. Публике неведомо было и о значении «пропаганды действием», поэтому ее удивляла бессмысленная жестокость акций. Они казались ей безумными, сатанинскими, совершавшимися ради удовлетворения своих прихотей. Пресса привычно называла анархистов «зверьем», «подвальными лунатиками», дегенератами, уголовниками, трусами, «фанатиками с извращенной психикой и патологическими отклонениями». «Бешеная собака – этот эпитет лучше всего подходит для характеристики анархиста», – писал «Блэквуд», солидный британский журнал<sup>66</sup>. «Как можно уберечь обще-

ство от страшного сборища безумцев и преступников?!» – восклицал Карл Шурц<sup>28</sup> после убийства Кановаса.

Невозможно было ответить на этот вопрос. Выдвигались самые разные предложения, включая учреждение международной исправительной колонии для анархистов, насильственную изоляцию их в психлечебницы и депортацию, правда, не объяснялось, в какую страну.

Нашелся все-таки человек, попытавшийся понять анархизм. В разгар истерии, поднявшейся в связи с убийством президента Мак-Кинли, Лиман Аббот<sup>67</sup>, редактор журнала «Аут-лук» и поборник традиций Новой Англии, породивших аболиционизм, осмелился заявить: разве ненависть анархистов к правительству и закону не вызвана несправедливостью этого правительства и его законов? Пока законодатели будут обслуживать особые классы, «поощрять ограбление большинства во благо меньшинства, защищать богатых и игнорировать бедных», и анархизм будет требовать «искоренения всех законов, видя в них инструмент несправедливости». Выступая перед приятной компанией джентльменов клуба «Девятнадцатый век», он предложил, что «атаковать анархизм надо там, где находятся источники обид». Аббот отражал уже назревавшие в обществе настроения в пользу реформ, которые проявлялись и в благотворительных инициативах Джейн Аддамс, открывшей ночлежку Халл-хаус, и в социальных разоблачениях макрейкеров.

Убийством Мак-Кинли завершилась эра анархистского насилия в западных демократиях. Даже Александр Беркман в письме Эмме Гольдман из тюремной камеры признал бесплодность индивидуальных актов насилия, когда у пролетариата отсутствует революционное сознание. Эти слова у Гольдман, которая все еще верила в правое дело анархизма, «вызвали поток слез», она была «расстроена до глубины души» и, «чувствуя себя совершенно больной», легла в постель, взяв с собой его послание. Она по-прежнему оставалась убежденной анархисткой, пресса называла ее «королевой анархии», но анархизм лишился страстности, трансформируясь, как это произошло во Франции, в более реалистическое движение – синдикализм. В Соединенных Штатах он растворился в союзе Индустриальных рабочих мира, созданном в 1905 году. Хотя, конечно, в некоторых других странах анархизм оказался более жизнестойким.

В двух странах, расположенных на обочине Европы, – в Испании и России – взрывы бомб и убийства продолжались. В 1906 году террорист бросил бомбу в короля Альфонсо и его молодую английскую невесту, когда они справляли свадьбу: от взрыва погибли двадцать человек. Общественность ужаснулась от мысли о том, сколько же накопилось в стране злобы и ненависти, чтобы совершить такой чудовищный акт. В 1909 году правящий класс доказал, что он тоже умеет ненавидеть. После неудачного бунта в Барселоне, получившего название «Кровавой недели»<sup>29</sup>, правительство казнило Франсиско Ферреру, радикала и антиклерикального просветителя, хотя он и не был истинным анархистом. Расправа вызвала бурные протесты во всей остальной Европе: произвол в Испании, как обычно, дал повод для шумного выражения либеральных настроений. В 1912 году испанский анархист по имени Мануэль Пардиньяс шел по пятам за премьером Хосе Каналехасом по улицам Мадрида и застрелил его, когда тот остановился у окна книжного магазина на площади Пуэрта-дель-Соль<sup>68</sup>. Почему он это сделал? Ведь после казни Ферреры премьер-министр Каналехас уже пытался реформировать неограниченное всеислие церкви и лендлордов. Очевидно, ненависть испанских анархистов к своему обществу и государству тоже, как писал Шоу, «перехлестывала через край»<sup>69</sup>.

В России революционная традиция была давней и сильной, впитав недовольство масс безысходностью и несбыточными надеждами. Каждое новое поколение порождало бойцов для

---

<sup>28</sup> Бывший министр внутренних дел, в отставке один из самых известных независимых политиков в США.

<sup>29</sup> «Кровавая неделя» – восстание против колониальной войны в Марокко.

войны между мятежниками и деспотами. В 1887 году, когда были повешены анархисты Хеймаркета, в России на виселице вздернули пятерых студентов Петербургского университета за попытку покушения на царя Александра III. Их вожак Александр Ульянов утверждал на суде, что только террором можно бороться в полицейском государстве. В его семье было трое братьев и три сестры, все революционеры, и младший брат Владимир Ильич поклялся отомстить и, взяв себе имя Ленин, начал готовить революцию.

Нараставшие в девяностые годы народные волнения вселили в революционеров веру в то, что вот-вот поднимется восстание. Новый царь Николай II, оказавшийся и слабым и опасным автократом, категорически отверг призывы к конституции, назвав их «бесплодными мечтаниями», чем огорчил демократов и разозлил экстремистов. Повсеместно рабочие объявляли забастовки. Приближалось окончание столетия, и оно предвещало прощание с прошлым и пришествие «лучших времен».

Все группы протеста готовились к этому историческому моменту, крепили свои силы, разрабатывали программы. Однако между ними не было согласия, разгорался конфликт между приверженцами марксизма, настаивавшими на тщательной организации и подготовке, и сторонниками стратегии народников, полагавшихся на спонтанную революцию, которая вспыхнет в результате террористического акта. В 1897 и 1898 годах образовались два лагеря – марксистская социал-демократическая партия и народнические группы социалистов-революционеров, объединившихся в 1901 году в единую партию.

Признав необходимость организованной партии, социалисты-революционеры не были анархистами в чистом виде, но разделяли анархистские убеждения в том, что террор пробудит революцию<sup>70</sup>. Они исходили из того, что революция вспыхнет подобно солнечным лучам, внезапно появляющимся из-за тучи, а дальше все получится само собой. Ассоциирование анархистов с выходцами из России объясняется отчасти пристрастием русских революционеров к бомбам, которые со времени убийства царя в 1881 году стали главным средством борьбы, и отчасти бессознательной силлогистикой: русские – революционеры; анархисты – революционеры; значит, анархисты – русские. Ортодоксальные анархисты, издававшие русскоязычные журналы в Женеве и Париже и придерживавшиеся концепций Кропоткина, не составляли сколько-нибудь значительную силу в самой России.

В 1902 году Максим Горький в пьесе «На дне» отразил все несчастья и горести России. «Человек рожден для лучшего!» – восклицает пьяница-шулер и, поискав иные слова для того, чтобы передать состояние своей души, повторяет: «Для лучшего». В 1901–1903 годах боевики социалистов-революционеров убили министра просвещения Боголепова, министра внутренних дел Сипягина, руководившего тайной полицией, и губернатора Уфы Богдановича, подавившего восстание горняков на Урале с чудовищной жестокостью. 15 июля 1904 года, в разгар Русско-японской войны, они лишили жизни второго министра внутренних дел Венцеля фон Плеве<sup>30</sup>, самого ненавистного человека в стране. Ультрареакционер Плеве затмевал самого царя в стремлении сохранить самодержавие и не идти ни на малейшие уступки демократам. Для него важнее всего было уничтожить любые реальные и потенциальные очаги и источники распространения антипатии к режиму. Он подвергал массовым арестам революционеров, преследовал «староверов», препятствовал деятельности земств, местных органов самоуправления, устраивал гонения на евреев, насильственно русифицировал поляков, финнов и армян, лишь увеличивая численность врагов царизма и убеждая их в необходимости его свержения.

Один из методов отвлечения народного недовольства режимом он описал коллеге такими словами: «Мы должны утопить революцию в еврейской крови»<sup>71</sup>. В 1903 году на Пасху в Кишиневе был устроен погром. Подстрекаемые агентами, толпы русских жителей города на глазах безмолвных жандармов обрушились на извечных супостатов, избивая их, поджигая и

---

<sup>30</sup> Плеве Вячеслав Константинович (Венцлав) убит эсером Е. С. Созоновым.

грабя дома и лавки, оскверняя синагоги и раздирая в клочья священную Тору. Один раввин, пытавшийся уберечь драгоценное Пятикнижие, погиб под дубинками и сапогами. Кишиневский погром вызвал гневное осуждение во всем мире. В том же 1903 году террористов партии эсеров возглавил Евно Азеф, еврей, который был одновременно и агентом тайной полиции. Он организовывал и террористические акты, и информировал охранку, но не предупредил о готовящемся покушении на своего шефа. Убийство главного жандарма произвело фурор в России: удар был нанесен по шефу полиции, оплоту всей системы. Предупреждение было настолько зловещим, что преемник Плеве князь Святополк-Мирский приговорил убийцу к пожизненной каторге в Сибири, а не к смертной казни, надеясь, что эта мера менее способна спровоцировать месть.

Через полгода, в январе 1905 года, на площади перед Зимним дворцом войска расстреляли мирную демонстрацию петербургских рабочих, пришедших к царю с петицией о конституции. В Кровавое воскресенье полегло более тысячи человек. Террористы начали готовить акты возмездия, убийство царя и его дядей великого князя Владимира Александровича, которого обвиняли в расправе, и великого князя Сергея Александровича, оказывавшего большое влияние на царя. Сергей Александрович был генерал-губернатором Москвы, и его особенно ненавидели за свирепую жестокость<sup>72</sup>, капризность и одержимость всевластием, граничившую с безумием. Согласно одному английскому обозревателю, он отличался «специфической немилосердностью» и даже среди русских аристократов прославился своей «порочностью». Хотя Азеф и был платным агентом полиции, он помогал и боевым отрядам добиваться успехов, без которых он стал бы менее ценен для охранки. В феврале 1905 года Сергея Александровича разорвало на куски бомбой, брошенной молодым революционером по имени Каляев, который продолжал стоять посреди месива в старом синем пальто с красным шарфом, забрызганный кровью, но невредимый. От великого князя, его кареты и лошадей остались лишь «бесформенные груды частей тела и обломков размером восемь-десять дюймов»<sup>73</sup>. В тот вечер царь, узнав страшные вести, пришел к ужину домой, ничего не сказал об убийстве, отужинал и, по описанию одного из гостей, «забавлялся, пытаясь сдвинуть мужа сестры<sup>74</sup> с узкой софы»<sup>31</sup>.

На суде в апреле 1905 года Каляев, худой, осунувшийся, с запавшими глазами, сказал: «Мы два воюющих лагеря... два яростно противоборствующих мира. Вы представляете капитал и угнетателей; я – один из народных мстителей». Россия воевала на два фронта: с японцами и собственным народом, неповинуящимся и открыто восстающим. «Что все это означает? История вынесла вам приговор». Осужденный на казнь, Каляев выразил пожелание, чтобы палачи совершили ее открыто и публично. «Учитесь смотреть надвигающейся революции прямо в глаза», – сказал он судьям. Однако его повесили в черном балахоне после полуночи в тюремном дворе и захоронили возле стены.

В октябре революция свершилась. Пропаганда деянием, убийством фон Плеве и великого князя Сергея Александровича помогла побудить массы к восстанию. Ее организовали не эсеры, не социал-демократы, не анархисты, она вспыхнула спонтанно, как и предполагал Бакунин, не доживший до этих дней. В соответствии с концепцией синдикализма она проросла из всеобщей забастовки рабочих и, перепугав режим, добилась от него конституции и учреждения Думы. Все эти новшества были впоследствии отменены, но синдикалисты поверили в эффективность «прямых действий» посредством всеобщих забастовок, и анархисты охотно вступали в союзы индустриальных рабочих. В России отряды террора совершили еще несколько убийств и потом расформировались после разоблачения Азефа в 1908 году. Ко времени убийства премьер-министра Столыпина в 1911 году полубезумный, пасмурный мир Романовых покрылся

<sup>31</sup> *Brother-in-law* – очевидно, имеется в виду великий князь Александр, муж сестры Ксении.

таким мраком, что трудно было понять, где истинные революционеры, а где *agents provocateurs* полиции.

Какими бы призрачными ни были помыслы анархистов, их акции обострили борьбу между двумя сегментами общества, между миром привилегированных классов и миром протеста. Одних они заставили задуматься, других – подтолкнули к тому, чтобы через синдикаты объединяться в организации трудящихся. Анархизм изначально не признавал никакой организованности. Это был последний крик души индивидуальности, последний порыв в массах, выражавший жажду индивидуальной свободы, последняя надежда на жизнь без подчинения командам, последний взмах кулака перед лицом наступавшего государства перед тем, как человека окончательно смяли государство, партия, профсоюз, организация.

### 3. Конец мечте. Соединенные Штаты: 1890—1902

На открытии конгресса в Соединенных Штатах в январе 1890 года появился новый спикер палаты представителей. Это был великан ростом шесть футов три дюйма, весивший почти триста фунтов, в черном одеянии, из которого выглядывало большое, пухлое, чисто выбритое детское лицо<sup>1</sup>, похожее на дыню «касаба», насаженную на сдобную могучую шею – великолепный типаж для Франса Хальса, хотя его белые длинные пальцы скорее восхитили бы Ганса Мемлинга. Он говорил, растягивая слова, любил запустить несколько сарказмов в момент самых горячих дебатов и наблюдать за реакцией с невозмутимостью Будды, переехавшего в Новую Англию. Когда занудливо многословный Спрингер из Иллинойса сообщил палате, что предпочитает быть на стороне правоты, а не президента, спикер заметил: «Джентльмен может не беспокоиться на этот счет. Он не понадобится ни той, ни другой стороне». Когда другой член палаты, не умевший четко формулировать мысли и имевший привычку запинаться, начинал говорить: «Я все думал, мистер спикер, я все думал...», председатель прерывал его и добавлял: «Вам никто не мешает думать. Похвально, если вы придумаете что-то новое». О самых беспомощных ораторах он отзывался так: «Они открывают рот только для того, чтобы изречь какую-нибудь банальную истину». О нем говорили, что ему легче блеснуть эпиграммой, чем завести друга. Тем не менее среди избранных друзей он всегда был «душой компании»: его искрометное остроумие действовало на всех как «самое лучшее шампанское».

Этим необыкновенным человеком был пятидесятилетний республиканец из штата Мэн Томас Б. Рид. За четырнадцать лет в конгрессе он прославился как «самый популярный полемист», а после этой сессии его признали и как «величайшего парламентского лидера» и «самого блистательного американского политика».

Хотя его род своим происхождением и обязан Новой Англии, Рида привели в политику не унаследованное богатство, социальное положение или землевладение. Подобные приобретения в американской политике ничего не значили, и те, кто ими обладал, в ней не участвовали. Состоятельные и знающие себе цену семьи предпочитали не заниматься и даже уклонялись от государственной службы. Джон, старший брат Генри Адамса, считавшийся «самым одаренным чадом в семье, перед которым открывалось великое будущее», сколотил приличное состояние на железной дороге «Юнион пасифик» и отказался от государственных должностей: «У него было все – богатство, дети, приятное общество, внимание, и ему казалось нелепым жертвовать всем этим ради служения в кабинете Кливленда или аплодисментов ирландской толпы»<sup>2</sup>. И такие настроения были присущи не только истомленному государственным делами семейству Адамсов. Когда молодой Теодор Рузвельт в 1880 году заявил о намерении заняться политикой, ему с пренебрежением говорили: политика – это «низменное занятие», пригодное для «содержателей салонов и кондукторов», «людей грубых и неотесанных, с которыми неприятно иметь дело».

Отрешенность богачей от государственных дел можно считать и порождением американской революции, и результатом провала замыслов Гамильтона построить государство в интересах правящего класса. Победили принципы Джефферсона и демократические призывы Джексона. Отцы-основатели и подписанты Декларации независимости были по преимуществу крупными собственниками, занимавшими влиятельное социальное положение, но плоды их усилий способствовали отстраненности людей такого же статуса от участия в государственном управлении. После введения всеобщего избирательного права имущие оказались в таком же положении, как и неимущие, численность которых была значительно больше, и собственники вышли из борьбы. Ни один президент после первых шести (возможно, кроме Гаррисонов) не принадлежал к традиционному американскому истеблишменту. Солидные и респектабельные

по своим понятиям семьи вели замкнутый образ жизни, наслаждаясь уютом своих усадеб и предаваясь любимым занятиям и отдав в результате сферу политики и управления на откуп пронырливым пришельцам из низов. Они увлеклись приращением состояний банковскими и торговыми сделками, а не лучшим использованием земельных владений, и постепенно теряли их. Первыми пришли в упадок земли нью-йоркских магнатов нидерландского происхождения; гражданская война загубила южные плантации; сохраняли дееспособность и даже процветали стародавние семьи Бостона, но они старались держаться в стороне от политики. После первых двух Адамсов самодовольный «Хаб» не дал Америке больше ни одного президента. «Самая благодетельная, воздержанная, способная и просвещенная часть населения, – писал Эмерсон в эссе о политике, – проявляет робость и тревожится только за свою собственность».

Через сорок лет англичанин Джеймс Брайс, удивившись «апатии классов роскоши и утонченного ума»<sup>3</sup>, в книге «Американское государство» (*The American Commonwealth*) посвятит целую главу теме: «Почему лучшие люди уходят от политики?» Им недостает чувства *noblesse oblige*<sup>32</sup>. «Равнодушные образованных и состоятельных классов» он попытался объяснить отсутствием почтительного отношения к ним народных масс: «Поскольку массы не обращаются к ним за руководством, они его и не предлагают».

В Америке, где так и не появился правящий класс с крупной земельной собственностью и наследственными врожденными нравственными устоями, создались благоприятные условия для деятельности авантюристов разного рода – жуликов, спекулянтов, грабителей, преступников – и, соответственно, коррумпирования политики и государственной службы. После гражданской войны наступили времена бурного предпринимательства и экспансии. В 1880–1890 годы численность населения выросла на 50 процентов – с пятидесяти до семидесяти пяти миллионов человек. Правительство страны, в которой каждый предвкушал успех и удачу, в семидесятые и восьмидесятые годы было озабочено главным образом обеспечением безопасности и доходности – капиталистов. Оно было платным агентом капитала. Наглые сделки и скандалы вызывали возмущение и требования реформ. Но джентльмены не желали «марать себя политикой», как писала Эдит Уортон о нью-йоркском «обществе». Немногие из друзей в «ее самом лучшем сословии» могли посвятить себя служению обществу. Америка «пренебрегала способностями этого сословия, вместо того чтобы воспользоваться ими».

Не участвуя в правительстве и не имея опоры в виде крупной земельной собственности, американские богатые семьи легко поддавались панике. Во время финансового кризиса в 1893 году Джон Адамс мог потерять все состояние, и он «лишился душевного покоя». Его брат Генри писал: «Нервы сдали у всех в Бостоне, и он был не единственным, у кого нервная система оказалась не на высоте. Я вовсе не думаю, что кто-то из нас в этом отношении сильнее его. Я потерял покой давно». Хотя многие его современники наверняка могли проявить больше выдержки, все равно их стойкость вряд ли можно сравнить с хладнокровием американцев времен подписания Декларации независимости. Когда брат попросил Льюиса Морриса, владельца поместья Моррисания<sup>33</sup>, не подписывать декларацию из-за ее негативных последствий для собственности, тот сказал: «К черту последствия! Давай перо!»<sup>4</sup>

Спикер Рид по особенностям интеллекта и склонности к твердокаменной независимости суждений и поведения больше всего подходил на роль политика в Америке той эпохи. Он вырос в далеком северном медвежьем углу Новой Англии с односложным хлестким названием Мэн. Ко времени его рождения в 1839 году предки уже жили в этом крае двести лет. По матери он был потомком пассажира парусника «Мейфлауэр», а по матери отца – Джорджа Клива, прибывшего из Англии в 1632 году, построившего первую хижину белого человека в Мэне, основавшего колонию Портленд и ставшего ее первым губернатором. Сам же Рид, женившийся

<sup>32</sup> Положение обязывает (*фр.*).

<sup>33</sup> Историческое название Южного Бронкса в Нью-Йорке.

на праправнучке Клива, родился в семье рыбаков и мореходов. Небогатые и фактически безземельные, его предки из поколения в поколение боролись за выживание своего поселения на скалистых склонах, отражая нападения индейцев и стойко перенося тяготы оторванности от мира и суровых снежных зим. Противостоять трудностям Рид приучился с детства. Отец, капитан небольшого прибрежного судна, заложил дом, чтобы послать сына в Боудин. В колледже Рид обеспечивал себя сам, давая уроки в школе, куда он каждый день добирался, проходя пешком шесть миль. Сыновья семей Портленда учились в Боудине не ради удовлетворения неких социальных амбиций, а для того, чтобы получить образование. Поскольку не только Рид, но и многие другие отпрыски Портленда находились в аналогичных стесненных материальных обстоятельствах, семестры в колледже организовывались таким образом, чтобы они могли зарабатывать на уроках зимой. Рид намеревался стать священником. Но в результате долгих ночных чтений на чердаке с приятелем «Французской революции» Карлайла, «Фауста» и «Вертера» Гёте, «Эссе» Маколея, новелл Теккерея и Чарльза Рида у него сформировалось индивидуальное представление о вере, не укладывавшееся в рамки общепринятой догмы. Окончив колледж в 1861 году, он продолжал изучать право и давать уроки за двадцать долларов в месяц.

Гражданская война коснулась его, когда в 1864 году он поступил во флот и служил на канонерке на Миссисипи и занимался делом, вовсе не военным. Он был интендантом и, как признавал позднее, ему ни разу не довелось побывать под пулями. В отличие от других ветеранов, он не мог приукрасить военные воспоминания рассказами о проявленных отваге и бесстрашии. «Какой же благодной была эта жизнь, эта милая сердцу давняя служба на флоте, – говорил он, если собеседники начинали делиться воспоминаниями о войне, – когда я командовал бакалейной лавкой на канонерке. Мне было известно то, о чем не знали другие. У меня были все права, в том числе и те, которые мне с удовольствием передавали другие». Такой же метод язвительной иронии он позднее применял в конгрессе.

Когда в 1865 году двадцатипятилетний Рид занялся адвокатурой, это был высокий и сильный молодой человек с приятной наружностью, волевым, почти квадратным лицом и густой белокурой шевелюрой. В последующие годы его внешность существенно изменилась. Он служил городским советником Портленда, затем его избрали в законодательное собрание штата, в сенат штата, назначили генеральным прокурором штата Мэн, он женился и расплодился. У него родилось двое детей, сын, умерший рано, и дочь. Волосы его поредели, он почти полысел и раздобыл до такой степени, что на улицах Портленда, по описанию одного современника, «напоминал фрегат среди утлых яликов». У него был облик слона, невозмутимого, погруженного в свои мысли, никого и ничего не замечавшего вокруг и передвигавшегося такой же грузной и неторопливой поступью. «Для него любая улица узка!»<sup>5</sup> – воскликнул изумленный прохожий, уступивший ему дорогу.

В 1876 году тридцатишестилетнего Рида избрали в палату представителей на место Блейна, перебравшегося в сенат. В роли члена комиссии, расследовавшей обвинения в фальсификации итогов голосования за Хейза и Тилдена, он допрашивал свидетелей, покорила публику судейским артистизмом и моментально приобрел общенациональную популярность. Впоследствии он входил во всемогущий комитет по правилам, возглавлял юридический комитет, в совершенстве познав все парламентские регламенты и механизмы.

По мнению одного из коллег, комитет по правилам превратился в самый «изошренный орган», предназначенный для «обструкции законотворчества»<sup>6</sup> в обстановке «секретов и тайн» подобно обществу каббалистов Средневековья. Рид усмирил эту организацию. «Ни в одном парламенте во все времена еще не было такого подготовленного и толкового парламентского лидера», – говорил сенатор Генри Кэбот Лодж, прослуживший с ним в палате представителей семь лет. Рид не только досконально знал парламентскую практику и законодательство, но и «понимал теорию и философию системы». Сознательно или бессознательно он готовил

себя к тем временам, когда уже в роли спикера будет управлять деятельностью палаты так, что никто не сможет состязаться с председателем в знании правил и процедур.

Утверждать свою власть над палатой ему помогало и то, что он, по мнению сенатора Лоджа, был «самым превосходным и убедительным полемистом из всех, кого мне доводилось видеть или слышать». В его выступлениях никогда не было лишних слов, он никогда не запинаясь, не терялся, не отступал и не изменял уже заявленной позиции. Отвечал он моментально, немногословно, но ясно и веско. Он мог привести неопровержимые доводы, четко обозначить проблему, опровергнуть аргумент или вскрыть ложность посылок всего лишь несколькими фразами. Его язык всегда был ярким и образным. «Еще не время созреть клубнике», – говорил он о сроках. Никто не мог выражаться так самобытно и колоритно, как Рид. Когда между коллегами Берри и Кертисом возник спор, кто из них выше ростом, Рид попросил их встать рядом, чтобы сравнить. Берри незаметно подтянул живот и выпрямился, и Рид воскликнул: «Бог мой, Берри, сколько тебя еще осталось в твоих карманах?» Из него афоризмы сыпались, как из рога изобилия. «Вся мудрость человека нередко сводится к тому<sup>7</sup>, чтобы кричать вместе с большинством», к примеру. Или другой: «Государственный деятель – это человек, в котором умер политик». Он почти не жестикулировал, когда говорил. «Когда он поднимался, чтобы ответить оппоненту, – вспоминал Лодж, – заполняя телом весь проход между рядами, положив руки перед собой, с каменным выражением лица и видом человека, не имеющего ни малейшего представления о предмете разговора, в такие моменты он был особенно опасен». Повергнув однажды очередного оппонента, не сумевшего найти достойный ответ, Рид добавил: «После того как это насекомое застряло в густой смоле моих ремарок, я позволю себе продолжить».

Его собранность и жесткость особенно проявлялись во время прений по «правилу пяти минут». «Рассел, – сказал он члену палаты представителей из Массачусетса, – вы не понимаете сути теории пятиминутных дебатов. Смысл их в том, чтобы предоставить палате информацию либо дезинформацию. После обеда вы несколько раз воспользовались правилом пяти минут, но не сделали ни того, ни другого».

Рид не ораторствовал, а излагал свои мысли и доводы или язвил. Он любил подковыривать смежную палату, которую презирал, и однажды ехидно рассказал притчу о том, как через пятьдесят лет в соответствии с конституционной поправкой президента стали избирать сенаторы из числа сенаторов: «Когда собрали бюллетени и подвели итоги голосования, все поняли по бледному лицу верховного судьи – случилось нечто неожиданное и поразительное. Преодолевая замешательство, он поднялся и громогласно объявил в мегафон, изобретенный Эдисоном, что каждый из семидесяти шести сенаторов получил по одному голосу».

Во время дебатов о привилегиях и тарифах Рид рассказал другую историю. Когда он идет по улицам Нью-Йорка, «его тошнит от вида фасадов роскошных особняков богатых купцов и толп бедноты на тротуарах»: «Я не испытываю симпатию к этим людям, живущим за стенами, облицованными железистым известняком. Но я знаю, что это за чувства, которые испытываю. Это хорошая, благородная зависть. А когда джентльмены по ту сторону прохода испытывают аналогичные чувства, они принимают их за проявления политической экономии».

Как только становилось известно о том, что собирается выступить Рид, все пересуды в коридорах прекращались и члены палаты спешили занять свои места, предвкушая занимательный спектакль, насыщенный сарказмом и остроумием. Каждый член палаты представителей желал бы скрестить мечи в полемике с Ридом, чтобы стяжать себе хоть какую-то известность, но он пренебрегал «мелкотой», принимая вызов только от серьезных и достойных оппонентов.

Репортеры ходили за ним по пятам, добиваясь комментария на злобу дня. А он предпочитал отшучиваться. Когда Риду попросили прокомментировать послание папы, он сказал: «Его полнейшая бессодержательность лишает меня дара речи». На вопрос о самой главной проблеме, с которой сейчас сталкивается американская нация, он ответил: «Как увернуться от велосипеда».

После первого срока его постоянно выдвигали в палату представителей от первого округа штата Мэн. Но сам процесс выборов – совсем иное дело, и он чуть не потерпел поражение в 1880 году, отказавшись пойти на компромисс по проблеме «свободного обращения серебра», несмотря на «банкнотные» настроения в Мэне. Он удержался благодаря перевесу лишь в 109 голосов. Но возросшая популярность обеспечивала ему лидерство в избирательных списках кандидатов. Даже демократы признавались в том, что «тайком» отдавали ему свои голоса<sup>8</sup>. «Он нравился избирателям Новой Англии, – говорил Хор, сенатор из Массачусетса. – Они выслушивали его мнения по общественным делам с гораздо большим интересом, чем других ораторов, включая Блейна или Мак-Кинли». Возможно, секрет его популярности заключался в том же качестве, которым обладал Пальмерстон<sup>9</sup>. Один англичанин объяснил популярность своего премьер-министра тем, что он был «чертовски славным малым».

Хотя Рид никогда и не отгораживался, и не фамильярничал с публикой, среди равных ему по статусу и интеллекту людей «не было более обаятельного и приятного собеседника». В узком кругу вашингтонской элиты его любили за общительный и веселый нрав, он был хорошим рассказчиком, незаменимым партнером в покере, желанным гостем дома. Как-то на званом ужине, когда зашел разговор об азартных играх, другой признанный знаток анекдотов, сенатор Чот из Нью-Йорка, заметил несколько самодовольным тоном, что за всю свою жизнь ни разу не играл на деньги ни в карты, ни на скачках, ни где-либо еще<sup>10</sup>. «Как бы и мне хотелось сказать то же самое», – с вздохом произнес один из гостей. «А п-о-о-чему бы и нет? – растягивая слова, спросил Рид. – Чот ведь сказал».

За столом Рид мог не только рассказать занимательную историю, но и блеснуть эрудицией. Он прекрасно знал Бернса, Байрона и Теннисона, любил читать и перечитывать «Ярмарку тщеславия» Теккерея. Он постоянно получал журнал «Панч», читал в оригинале Бальзака и говорил о его произведениях: «Едва ли у него найдешь книгу, в которой нет безмерной печали»<sup>11</sup>. Он выучил французский язык, когда ему уже было далеко за сорок, и вел дневник на этом языке «для практики». Именно Риду во многом обязано существование в США Национальной библиотеки. Только благодаря его настойчивости удалось преодолеть традиционную скупость палаты представителей и выделить достаточные средства для Библиотеки конгресса.

«Не было у нас еще деятеля, способного не только увлекательно говорить, но и слушать, – считал сенатор Лодж, – со столь ясными симпатиями и антипатиями, безграничными интересами и человеческими страстями». «Мы пригласили Рида к обеду<sup>12</sup>, – писал молодой друг Лоджа из Нью-Йорка, – и он был восхитителен». Вскоре Рид, поборник реформы государственной службы, нашел для этого молодого человека должность в Вашингтоне – в комиссии по государственной службе – и всякий раз, когда новый уполномоченный нуждался в помощи на Капитолии, она ему оказывалась. Позже, когда этот молодой человек из Нью-Йорка обратил на себя внимание всей нации, Рид одарил его, пожалуй, самым памятным изречением: «Теодор, больше всего я уважаю вас за то, что вы открыли для нас Десять Заповедей»<sup>13</sup>. А еще он предсказал, что «Теодор никогда не станет президентом, поскольку не имеет политического опыта»<sup>14</sup>.

В 1889 году Теодор Рузвельт оказался полезным для Рида во внутривнутрипартийной борьбе с Мак-Кинли, Джо Кэнноном и двумя другими кандидатами на пост спикера палаты представителей. Пребывая на ранчо на северо-западе, он не только охотился, но и проводил активную кампанию за то, чтобы новые штаты Вашингтон, Монтана и две Дакоты направили республиканцев в конгресс. Вернувшись в Вашингтон, Рузвельт обустроил штаб-квартиру в старом отеле «Уэрмли» для того, чтобы агитировать новых конгрессменов отдавать голоса за Рида. Хотя Рид и разочаровал сторонников, отказавшись завоевывать голоса обещаниями назначений в комитеты, он все-таки победил на выборах.

Теперь Рид занял самый высокий после президента выборный пост. «Амбициозный, как Люцифер<sup>15</sup>, он не собирался лишь прилежно исполнять свою роль», – писал Чамп Кларк, член палаты представителей, знавший его очень хорошо. У него давно зародился план, созревший самостийно, без консультаций с кем-либо, и он намеревался реализовать его с помощью молотка спикера, невзирая на возможные негативные последствия для политической карьеры. Он знал, что предстоящая борьба превратит его в общенациональную знаменитость, а в случае провала ему придется навсегда забыть о Капитолии. Ставки были чрезвычайно высоки: либо он покончит с «тиранией меньшинства», парализующей деятельность палаты представителей и превращавшей ее в «беспомощную балаболку», либо уйдет в политическое изгнание.

Система, которую спикер намеревался разрушить, имела странное название – «молчащий» или «исчезающий» кворум. В палате сложилась практика, когда меньшинство могло заблокировать любой непонравившийся законопроект, лишая его кворума. Делалось это очень просто: оппозиционеры требовали начать поименную переключку и молчали, когда назывались их имена. Поскольку, согласно правилам, присутствие члена палаты подтверждалось только его голосом, а для кворума требовалось наличие большинства голосов, то молчание флибустьеров подрывало дееспособность парламента.

На недавних выборах в 1888 году победили республиканцы, завладев и исполнительной, и законодательной властью. Но лишь с очень небольшим преимуществом. Сурового Бенджамин Гаррисона следовало считать президентом меньшинства, поскольку он уступал Кливленду по результатам общенародного голосования и занял президентское кресло только благодаря специфичной избирательной системе, состоящей из коллегий выборщиков. Республиканское большинство в палате было мизерное – 168 против 160 и всего лишь на три голоса превышало кворум, установленный на уровне 165. Перед республиканцами встала сложная задача провести два важнейших партийных законопроекта – «билля Миллса» о пересмотре тарифов и «Форс-билля» против подушного налога и других попыток южан препятствовать участию негров в выборах. Демократы собирались устроить обструкцию и заодно помешать голосованию по поводу спорного мандата четырех республиканцев, двое из которых были неграми, избранных в южных округах.

Рид видел в этом конфликте борьбу за выживание представительной формы правительства. Если демократы заблокируют законопроекты, которые республиканцы как победители на выборах имеют полное право и выдвигать и принимать, то они таким образом надругаются над всей избирательной системой. Права меньшинства гарантируются свободным участием в обсуждениях и выборах, но когда меньшинство способно парализовать действия большинства, то это уже превращается в «тиранию»<sup>16</sup>. Главное назначение конгресса – не дебаты, а законотворчество. Долг спикера перед партией и страной – не руководить дебатами, а следить за тем, чтобы конгресс занимался делом.

Пост спикера был не только престижным. Человек, занимавший его, обладал всей полнотой власти, пока часть полномочий в 1910 году после бунта против Джо Кэннона не была передана в комитеты. Поскольку спикер являлся по должности и председателем комитета по правилам и процедурам, в котором двое республиканцев и двое демократов постоянно консультировались друг с другом, и поскольку он обладал правом назначать состав всех комитетов, то от его прихотей зависели и карьеры членов парламента, и законотворческий процесс. В руках Рида теперь сосредоточилась «власть, наделенная ответственностью», и он хотел доказать, что вопреки известному афоризму власть не только «развращает», она может содействовать взаимопониманию. Она даже может возвращать великих людей. Пост спикера, который газета «Вашингтон пост» назвала «не менее значимым, чем должность президента», мог предоставить Риду такую возможность. А он не принадлежал к числу тех людей, которые упускают или пугаются открывающихся перед ними возможностей.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.